



Глеб Александрович ГОРЫШИН родился в 1931 году в Ленинграде. В 1954 году окончил филологический факультет Ленинградского университета. Автор более тридцати книг рассказов, повестей, очерков. Член Союза писателей с 1960 года. Живет в Санкт-Петербурге.

ПО ВЕСНЕ, ПО ОСЕНИ

Записи одного лета

Записи этого лета (1992 г.— Ред.) — продолжение записей, опубликованных в № 12 «Севера» за 1991 год под заголовком «Луна запуталась в березе» и «Слово Лешему» в № 8 «Севера» за 1992 год.

Весь цикл: фиксация течения жизни в вепсской деревне Нюрговичи с отступлениями и допущениями, называется «Местность».

ПЯТЬ КОСТРОВ НА ТРОПЕ. ГОРЮЧЕЕ ЛЕТО. НУЖЕН СТОРОЖ. В ДЕКАБРЕ В АНГЛИИ. КТО ПОБЕДИТ. СЛОВО ЛЕШЕМУ. ИСПАНЦЫ УБИЛИ МЕДВЕДЯ

I

5 мая. 8 часов утра. У костра. Все же в моей жизни было много костров. Можно назвать меня кострожегом... Нет, не то, костермейстером... Тоже не то. Я, бывало, зажигал костры даже в Кольской тундре, где кроме стланиковой березы не сыщешь и палки дров...

В 1976 году в Африке, в городе Бисау, я видел: африканская женщина с голыми иссохшими грудями продавала на базаре палку дров неизвестной мне породы — как энергоноситель с теплотворящими калориями: кашу не сварить, хотя бы утюг разогреешь, надо же главе семьи выгладить брюки. (Правда, в Африке шьют и гладят мужчины; женщин держат у очага.) С электричеством в молодой республике Гвинея-Бисау тогда было туго, студенты по вечерам собирались для домашних занятий под, кажется, единственным в городе Бисау уличным фонарем. То есть палка дров одинаково дорого стоит в знойной Африке и в студеной Кольской тундре.

Один сезон я провел на Кольском полуострове за рекой Печенгой в геологической партии коллектором (ходил в маршруты за камнями) и попеременно лагерным рабочим, кухонным мужиком, стряпухой — зажечь костер, сварить харч для тех, кто в маршруте. Я набирал в тундре грибов, ловил на блесну здоровых окуней, однажды застрелил лосенка; тогда гордился собой — добытчиком, нынче ах, лучше не вспоминать!..

Переночевал в Харагеничах у бабушек Богдановых, утром вошел в лес, встал на тропу. Первым делом захотелось зажечь костер. Сыро, волгло, туманно, безветренно. В сизом лесу гряды снега.

По всей дороге от Питера до Лаврова не было снегу и уже обрызнулись зеленой березы. За Лавровом дорога пошла на подъем, к макушке Вепсовской возвышенности. Говорят, что триста метров над уровнем моря, в Балтийской системе координат. (Такие понятия, как «Балтийская система координат», у меня вынесены из работы на изысканиях — речником — в зоне затопления Братской ГЭС.) Да, и вот у вепсов полно снегу в лесу, на 5 мая — День печати.

Нащипал на елке сухих сучочков, запалил — вспыхнуло, как любовное чувство, и зацедило. Но все же я сижу у костра... У меня в свое время написана-издана такая книга «Кто сидит со мной у костра». Сижу сам с собой... Было такое время: могла выйти книга. Было и сплыло. Пошел дождь.

Второй костер на тропе. Недалеко ушел от первого и ухайдакался. Лешева тропа из Харагеничей в Нюрговичи всегда насторожена, как сылок, озадачена Лешим какой-нибудь пакостью. Помню: давно, в пору всеобщей сытости, хорошо пожив в моей деревне Нюрговичи, бежал по тропе к автобусу с наточенным топором в руках, на прощание выпивши с Мишей Цветковым. И вот я бежал, разрубал преграды, всякие палые елки-березы, то есть работал на общее благо... Так я бежал, играл топором, так был весел духом, полнокровен телом, что на каком-то замахе топора вдруг упал наземь, прямехонько на топорное лезвие, выточенное, хоть им брейся. Мы поздоровкались с топором щечка в щечку; на щеке я ощутил холодок стали. Чуток не угодил собственным ликом на острый топор. Но это когда было.

Нынче тропа завалена снегом, снег рыхлый, усыпанный хвоинами, с редкими следами лося, кооператора Сереги, Валеры Вихрова... Я шел по тропе из Харагеничей в Нюрговичи без уверенности: дойду ли по эдакому-то снежному целику, хватит ли силенок. Зима выдалась худая, вытянула жилы (на что, предвижу, возразят: не самая худая, ужю погоди, как следующая прижмет)... Что было делать? Завел другой костер, благо дровишки у кого-то наколоты обочь тропы. И дождь перестал. Просвистела иволга, да так близкор-внятно, в самое ухо, что вот, правда, весна. Прокувала кукушка. Со всех сторон наяривали зяблики: будет дождь, будет дождь.

Наша тропа бесконечна, неисчерпаема по прорве пакостей для путника. Главная пакость — Харагинское болото, золотое Эльдorado для клюквенников. Болото не обойдешь, не минуешь, как чистилище перед воротами в рай. Но даже в этом болоте — Лешевой латифундии — соблюдена крайняя мера пакости: взойдешь на него, станешь увязать по ступицу, болото позыбается, но удержит тебя на своей поверхности, не утопнешь. И обязательно перейдешь болото, оглянешься, сердце екнет: неужто и обратно вот так же шлепать?!

Самое худое в болоте — сойти на него: тут накидано кольев, жердин, все осклизли, проредились, без проку; неосторожно сунешься и встанешь по задницу мокрый. (Как жаловался один мой знакомый мужик: «Ходишь, ходишь всю жизнь, пока ноги по жопу стопчешь».)

А в этот раз, в припоздавшую весну (весна здесь всегда припаздывает, как вепское счастье) — да, такого еще не бывало! — для схода с берега на болото постелена перинка снегу и на ней следы, можно сосчитать, сколько за зиму хожено... То есть следы не зимние, по недавней пороше: у добрых людей, вон в Пашозере, уже картошка посажена, овес в совхозе посеян, а здесь на Пасху мела пурга. Об этом мне бабушки Богдановы сообщили в Харагеничах.

Ну, хорошо: мягко постелено снегу для схода на Харагинское болото, и сойти можно, держит, и само болото не налилось водою, как окрестные леса и пади, а такое, как всегда, воды по щиколотку. И клюква на моховинах. Ежели бы за спиной не груз неподъемный — прокормочный минимум — наклонялся бы к каждой клюквине, кланялся бы Харагинскому болоту; все до одного здешние вепсы кланивались ему, нагружая коробка клюквой. В прежние времена, старики говаривали, у вепсов через Харагинское болото настелена была гать, на телегах со стуком и гроком его перемаживали. Прежде были времена, а теперь моменты. Даже кошка у kota просит алименты.

У Харагинского болота есть недреманное око — озерко-ламбушка, холодно-бирюзовое, вровень с белесоватой мшарой, без ресниц и бровей. Однажды видел шагающего у озерка журавля, бывало, плавала пара крохалей; нынче пусто.

Перехлюпал Харагинское болото, потянуло отдохнуть. Затеял третий костер на тропе. Очистил яичко, съел с хлебушком — подкрепился. Нарубил лапнику, прилег, заснул, что-то во сне увидел. Когда очнулся, пошел двенадцатый час, а стал на тропу, за околицей Харагеничей, в половине седьмого.

Тропы оставалась вторая половина, полечке первой, но тоже с пакостями — ямами-мочежинами. Снегу почему-то прибыло, на высоком месте, на горушках-горбушках. Большое Озеро открылось, как всегда, — сферическое, на этот раз тихое, сирое, подобно небу и лесу. Перевезший меня Серега-кооператор сказал, что только вчера сгинул лед. Приди я вчера, и кувокал бы или поворотил бы пятки взад...

До Сереги-перевозчика еще пришлось пережить раздвоение тропы: влево на Берг,

там Валера Вихров, вправо к нам на Гору, там Серега, а больше нет никого. Тропа, раздвоясь, как бы и прекратилась: ног не хватило две тропы натоптать. Пришлось чапать на проблемск Озера в Чапыге... Прошлый год под осень в ночь... Ну да об этом у меня написано в прошлогодней тетради...

Четвертый костер, в устье тропы, у затопленных Озером ивовых кустов, я зажег по нужде: криком не докричишься перевозчика, дымом не дашь себя не заметить. Это — предпоследнее переживание: придет, не придет, а вдруг куда уплыл... Последнее, когда уже сидишь в лодке, и все худое позади: зима в городе, полдня в автобусе (моя машина отказалась ехать, что-то в ней не так, как и в государственном механизме), потом еще полдня в Шугозере маялся: пойдет автобус в Харрагеничи — не пойдет? С горы сошел, к бабушкам Богдановым: «Пустите переночевать». — «Ночуй, жаланный». Тропу еще раз осилил, кострищами означил тяжело давиться путь. Теперь что же? Сломали замок на двери избы? Украли пилу-топор-удочку? Другое-то ладно, а это — инвентарь первой необходимости. На всякий случай топор прихвачен, рыболовная снасть куплена в Шугозере, по свободной цене. Господи, будет ли свободе-то укорот? Испить бы хоть глоток несвободы, чтобы все по фиксированной цене...

— Спасибо, Сережа.

— Не за что.

Ну, хорошо. Изба не взломана, все цело. Изба продана другому хозяину, это уже пережито, описано в прошлый год. А пока можно жить. Жизнь-то с чего начать? С костра и начать. Пятый костер, однако, за день. Дров, огня вволю, чай на костре спорый, шибко скусный.

Намедни в Питере утром вышел по магазинам пошастать. В одном магазине дают макароны, по два килограмма на рыло, без карточек, по шестнадцать рублей килограмм. Экая радость! Взял, что дают; с макаронами на виду вышел на Невский. Ко мне обратилась старая питерская старушка, змяняя, в сундучной одежке, на костыле: «Молодой человек, макароны дают по карточкам, где брали?»

Я ей говорю: «Бабушка, карточек больше нет в природе, макароны брал вон там за углом». Бабушка озадачилась: «Что, макароны в «Природе»?..»

Пять костров на дню и еще печка. Месяц май — коню сена дай, сам на печь полезай. Тем и кончилось: залезанием на истопленную печь.

Теперь о бабушках Богдановых. Прошлый год, помню, насчитали бабе Кате сто пять лет. Еще год можно прибавить, но как-то не хочется: и того, что есть, с избытком. Дочери бабы Кати бабе Дусе пошел семьдесят первый годок. У бабушек Богдановых в избе сидели, будто с прошлого года не расхотелись, две харрагеничские старухи. И я пришел, будто вчера вышел. Пригласили к столу, предложили жареную шуку: «Сергей принес, а мы рыбу не едим». Вот тебе и на: у рыбного озера век прожили, а рыбу не едят. В избе новый житель: барашек Борис, тезка нашего президента. Барашек махонький, завернут в попонку, привязан к боку печи.

Из новостей — вроде все по-старому, все на местах. Дед Федор с бабкой Татьяной в Корбеничах живехоньки. Деду Федору девяносто второй год; долгожителями славились высокогорные местности, а и на Вепсовской возвышенности избыви Бог как долго живут. Речь зашла о кооператоре Сергее, баба Катя пошутила, сохраняя на лице отрешенное выражение своих ста шести лет: «Сергей да Андрей эвон нам с Дусей в женихи годятся. И мы невесты хоть куда».

Зимой случилась оказия, со знакомым почерком моего Лешего-насмешника. Купившая избу деда Федора в Нюрговичах женщина Ада, приехавшая из Питера, зашла к бабе Кате с бабой Дусей обогреться, попила чайку и отправилась по тропе в Нюрговичи. Пошла, и ладно. «А на другой день под вечер явилась, и лица на ей нет, и мешок где-то потерявши». С дороги сбилась, ночь под елкой просидела и еще день плутала, пока выбралась в Харрагеничи. «У ее собака была, — сказала баба Катя, — она говорит: «Я лицом в собаку-ту сунушь, так друг об дружку и грелись». — «После Валера Вихров, зять-то ейный, приходил, — сказала баба Дуся, — мешок по следу разыскал. Он у ее на сучок повешенный». — «Не, — оспорила баба Катя, — не на сучок, так брошенный. Она из сил выбивши и бросила».

Хорошо, что хорошо кончается. У моего Лешего пока так, то есть у нашего озера.

Второй день в деревне. Пробовал ружье, давненько из него не стреляно. Из крупного зверя на счету у него (у меня, у моего ружья) есть один выючный олень... Когда я работал в геопартии на Восточном Саяне, раз в лунную ночь — партия,

отужинав, благодумствовала у костра — раздался плеск на реке Дотот, все увидели плывущего зверя, в ночи не разобрать, что за зверь, скорее всего медведь... Как по команде «в ружье», все кинулись в палатку за оружием. Я выстрелил первым, плывущий зверь булькнул, стал подгрести к берегу. На берег выбрался наш выючный олень из взятой в Алыгджере, в колхозе «Красный охотник», связки. Ноги оленя подломились, он грянулся наземь замертво: пуля попала в голову. Оленей на ночь пускали пастись вблизи лагеря на ягель; должно быть, этого пугнул волк или росомаха. Убитого оленя мы съели, при расчете в колхозе списали на волка; естественная убыль связки была предусмотрена в договоре...

Целил в березу, дробины неглубоко вошли в березовую плоть, из каждой ранки заструился березовый сок, как кровь, как слезы...

Дует восток, мумро, холодно, перепадают дожди. В лесу снежно, ручейно, парно.

По здешнему веповскому закону подлости стали давить на психику медведи. Летом давят комары с мошками, а в месяце мае твои пути то и дело пересекаются с мишами (опять президентское имя, чтоб им пусто было, президентам; да и так пусто стало). Пришел кооператор Сергей, стали прикидывать, где брать подснежную клюкву. На дальних болотах за Саркой? «Там,— говорит Сергей,— у миши все подобрано. И там миша не любит, когда чужой приходит. Я прошлую осень два раза с ним встретился. Он остановится и рывкает, и ни с места: уходи, мое! Пришлось мне отступить. А на Харагинском болоте мне попался здоровый миша. Там-то небольшие, пестуны, а этот здоровило. Я собирался на Харагинском болоте как следует клюквы набрать, это же моя статья дохода, я кормлюсь от леса, а тут у меня конкурент миша. Я на него разозлился, ему кричу: «Пошел вон! Ну-ка, давай уматывай!» Палку поднял и в него брзил. И он ушел, не рывкнул, ничего, сговорчивый».

Ну хорошо, примем к сведению. Но все это из области мифотворчества, на мишину тему, неисчерпаемую на Руси. Большинство населения земного шара только и знает о России, что там медведи, мороз и водка. Как с ярославских медвежатников пошло, так и идет. Когда я слышу очередную байку: «Я иду, а он...» или: «Он идет, а я...» — мне хочется, чтобы со мною случилось такое, я бы вышел молдцом перед мишей. Сказать, чтобы я искал встречи с мишей, нет, не ищу, довольствуюсь современным фольклором, который собирает Владимир Соломонович Бахтин. Впрочем, кажется, он переключился на анекдоты; раньше за них давали статью, теперь они стали статьей дохода. И никому не смешно. В наше время повального юмора и сатиры... Мы не знаем, кто посмеется последним.

Между тем, чтобы жить в нашей деревне в весеннюю пору, надо кормиться от леса, больше не от чего. В Корбеничах банка тушенки 140 р. «Надо быть миллионером, чтобы ее жрать», — сказал Владимир Ильич Жихарев. Дует восток, рыба не берет, не идет в сеть. Есть мнение, что рыба не берет от дурной погоды, отошла от берега. Иные считают, что шуки вынерестились подо льдом, хотя у тех шук, что все же заходят в сеть, трюмы полны невыметанной икры.

А чем кормиться из леса? Как чем? Глухарями. Самое время глухариных токов. Раньше говаривали, что глухарь токует до тех пор, покуда на осине листок не развернется в гривенник. Нынче гривенник и копейки не стоит; глухарь перестал быть птицей-реликтом, птицей-фениксом, воспетой Пришвиным и Соколовым-Микитовым. Иван Сергеевич Соколов-Микитов однажды писал своему сердечному другу Федину, что вот как мне жалко тебя, милый дружок, не оторвал ты своего хвоста, примерзшего к питерской проруби, не приехал, а у нас такая на Невестнице весна! И ты мог услышать песню глухаря, прикоснуться к тому, что было мильенчик лет назад, послушать птичьей музыки, не хуже концерта Клемперера... Должно быть, тогда, в двадцатые годы, Клемперер был в моде...

Ну вот, концерт Клемперера... А нынче глухарь — килограмма три жесткого жилистого мяса; если тушить, то надо нашпиговать салом.

Пошел я на точок, ближний — рукой подать. Десять лет живу, все собираюсь сходить, прелестя как близко и дорога хорошая. С вечера прилягу, в два часа ночи мой внутренний звонок разбудит — он у меня безотказно звонит в поставленное время — и мигом на току, тут и глухарь прищелкнет клювом, заскирскает, а я его — пиф-паф, ай-я-яй... По-видимому, потому и не хожу на ближний точок, что слишком комфортно, а чтобы глухаря добыть, надо помучиться, пострадать, так на так и выйдет. Ради забавы — пиф-паф — нет, на это я не пойду. Тут ездил в Москву, побывал у тамошних глухарятников: Вадима Чернышева, любимого воспитанника Соколова-Ми-

китова, Олега Васильевича Волкова, почти ровесника Ивана Сергеевича, — они чего-то приуныли в отношении глухарей. Путевка на глухаря у них в Москве тысяча рублей. Тысяча! Они в Москве живут по правилам, по квитанции, по путевке, а у нас у вепсов...

Иду на ближний ток. Снег стал, как сказал Володя Жихарев, «кристаллический», рассыпчатый, не держит ногу, идти легко. Ток явил себя тривиально — явным образом: под одной сосной у страстно токовавшего на суку глухаря накидано нервного помету и под другой. Хорошо! Подождем прилета. Сел на валежину, посмотрел на часы: двадцать один час — самое время прилета. Помню, в прежние времена, сидя на подслухе, дважды зафиксировал глухариную пунктуальность: прилетели-сели ровно в двадцать один час. Бывают и опоздавшие, иные являются перед заходом солнца, а то еще — сам видел — приходят пешком, между кочками вперевалку. Сидя на валежине весной 1992 года, вдруг сообразил, что в прежние времена, сверяя часы по грому глухариных крыл, жил по старому времени, без перевода на час вперед. То есть, если перевести глухариный распорядок на нынешнее время, птицы прилетят в двадцать два часа. Стало быть, сидеть на валежине мне еще битый час, а ноги в резиновых сапогах в снегу зябнут и, главное, невыносима бездеятельность. Взять бы с собой книгу, очки... Но книги такой нет — читать на подслухе, чтобы одновременно и там и тут: читать не скучно и глухарей слышно. Писать? Но надо же и честь знать: как приеду в деревню, пишу и пишу...

Той музыки, о какой писал Соколов-Микитов Федину, у нас в вепсовской тайге тоже не раздавалось, так, пробовали голоса дрозды и еще кое-что по мелочи.

Когда мне стало невмоготу сидеть на мокрой суковой валежине, я встал и пошел, разумеется, не шумя, по-охотничьи. Описал круг небольшой, вернулся на собственный след на снегу. И увидел... Ну да, увидел свежие, как будто еще не остывшие, мишины следы. Миша ступал мне точно след в след, своей пятипалой, с круглой пяткой, острыми когтями лапой. Это значит что же? Значит, здешний миша шел за мной шаг в шаг... Обернись я, руку протяни, и можно потреть его по ушам.

Очень точно замечено: мороз по коже. На дворе май, тепло, парно, а по коже мороз, как морозный ожог. Ужасное дело — медвежьи следы на снегу поверх твоих собственных следов! И миша где-то тут же рядом за кустом, зачем-то я ему нужен. Зачем? Что надо? Я еще постоял, потеряв всякий интерес к глухарям, медленно пошел, с вцепившимся в спину морозом. В теплой избе принялся себя укорять: ах ты такой-сякой, другой бы плевал на мишу... Можно было оправдаться в собственных глазах, отправиться в тайгу в два часа ночи, сделать все, как пристало таежному человеку. Уговаривая себя на такой поступок, загода знал, что не выйти мне из тепла на стужу, в темень, где каждый куст может рывкнуть медвежьим голосом.

Мало ли что до сих пор миши не нападали на Вань, Мань, Саш и Леш?! А вдруг нападет?!

Лежа на теплой печке, сочинял назидательные прибаутки: «Грей на печи косточки, а дурь держи в горсточке. Грей утробу на печи, да мослами не стучи».

9 мая. День Победы. Надо сходить на Берг к полковнику Александру Михайловичу Макарову, поздравить с Победой. Он победил — командовал под Сталиным армивизионом...

Дует пронзительный холодный юго-запад — шелоник. На небе пополам голубизна с темнотушем. Дождь где-то близко. С утра истоплена печка, сварена пшеничная каша в чугунах, на углях. Славно!

Десять часов вечера. На краю неба зоревая рушница, солнышко высунулось, а на всем небе дождевое сито. Четвертый день молотит дождь в край озер и ветхих рощ. Разверзлись хляби небесные — парниковый эффект, озоновые дыры...

Днем ходил на Геную покидать спиннинг, поудить окуней, не повезет с рыбой — застрелить из ружья утку, утки нет — зажечь костер, сварить чаю, написать что-нибудь в этом блокноте. И что же? Щука не берет, окунь червя не приемлет; с неба хлещет дождь; для писания недостает сухости, внутреннего тепла.

Шел борами: одна боровина, одна падь со снежником, другая боровина, другая падь... Уперся в Сарку: Сарка катила большую вспененную, равнодушно-заполощную воду. Река представляла собой сплошной пережат, без заводей. Моста через Сарку не было; так его берегли, подновляли; находились мужики, ну да, местные, вепсы, рубили ольхи, перекидывали через Сарку, в два бревна и с перилой. Мост смыло, некому сделать новый.

Хлюпал, как хронический больной, несносный дождь. Я выбрал место над рекой, зажег костер, единственно на берегу. Вот ведь как устроено: без березовой одежды на Руси и огня не развести. Береза — хранительница секрета огня; березовые дрова — лучшие энергоносители; береста, как детонатор. На берестяном споре огне, с густым белым неедким дымом, сварил чаю, мельком подумал о тех вещах, коих не стало; о сыре, масле, яйцах, котлетах и так далее. Когда ехал в автобусе из Питера в Шугозеро, соседи разговаривали только о еде, и все так важно, интересно: кому-то перепала рыба, испекли рыбный пирог, у кого-то зять зимой забил кабанчика, ели печенку... Я удовлетворялся чаем с хлебом, намазанным свиным салом, полученным вместо мяса по карточкам в то незапамятное время, когда по карточкам давали еду почти задарма...

Напившись, наевшись у берестяного костра, самым непосредственным образом ощутил прилив сил, подъем духа, громко запел на тут же явившийся мотив: «Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром, как бы резвяся и играя...»

Шел домой, остановился послушать кукушку: сколько мне еще жить. Сознаюсь, не ведаю, как считать сдвоенное ку-ку, за один год или за два. Если за два, то наша нюрговичская кукушка, настроенная на долгожительство, насчитала мне больше ста лет. Ежели ополовинить, тоже хватит на пятерых.

Я подходил к избе с горячая надеждой получить хоть какую-нибудь весть. Может быть, прибыл вестник, хотя бы новый хозяин моей избы, сообщить мне, что изба им куплена у Гали Кукушкиной, что не я избовладелец, а он... Или к двери прищиплена записка, скажем, от кооператора Сергея: заходите, есть разговор. Человеку нужна весть. Без вести человеку скучно.

Ночью не спал, ждал своего часа, то есть своих двух часов: пойти на ток, на тот, медвежий. Надо было все расставить на свои места: здесь я, здесь ток, здесь медведь, здесь моя теплая постель в избе. Встал в половине второго, включил китайский приемник, обыкновенно не берущий здешних средних волн; на этот раз совпало, запел Лещенко, тот, без вины загубленный. И так он жалостно пел, так его было жалко, Лещенко... В Румынии он завел ресторанчик, пришли «наши», отобрали, любимого на Руси певца замучили в лагере... Лещенко пел, не хотелось уходить из теплой избы, но надо, мой дружок — категорический императив, нравственная обязанность..... И так бы хорошо глухаря ко Дню Победы, за водкой сгоняю в Корбеничи, там «Кубанская» — 150 бутылка, а «Стрелецкая» — 130...

Вошел в тайгу, дважды от неизвестных звуков (может, блазнилось) затряслись поджилки. Точно сказано, как и «мороз по коже», именно поджилки трясутся. Впрочем, скоро прошло. В тайге царил полутьма, тишина, изредка... нет, не нарушаемая, а подчеркиваемая какой-нибудь птичьей фразой. Глухариного пения не было слышно. На снегу явственно виднелся след только что прошедшего человека в обуви небольшого размера. Он пришел с той стороны, навстречу мне, на тот же ток, что и я; мы с ним малость разминувшись.

Просветлел край неба. Ходить по лесу в предрассветном рассеянном полусвете, скрадывая шаги,— как по дому со спящими ближними: хорошо, привычно, покладно.

Глухари не поют по нескольким причинам: не та погода, спугнул охотник или птицы нет. На нет и суда нет.

Володя Жихарев с другом плавали похоть сети, завернули ко мне. Володя сообщил, что в Корбеничах все на местах: дед Федор с бабкой перезимовали, Михаил Осипович хлеб печет, а он, Володя, развязал. «Да,— сказал Володя,— выпиваю. Правда, немножко. Семь сетей у нас поставлено, а попалась одна плотвичка. Всего одного глухаря нынче за весну убил. Вчера ночью из Тихвина приехали Петька, Ванька, Гришка — семеро мужиков. Пришли: «Давай водки!» А где я им возьму? Они драться. Вон моему другу досталось». На лице Володиного друга не было живого места, одни почерневшие синяки. По выражению лица Володиного друга (он молчал) можно было судить, что расплачиваться с обидчиками друг будет той же монетой: синяками на Петькиной, Ванькиной, Гришкиной физиономиях. Других, цивилизованных, тем более правовых норм взаимоотношений здесь не знают.

Удивительный все же у нас народ! Дали ему свободу — и куй железо, пока горячо, вкалывай, предпринимай, расширяй, накапливай, за кайфом поезжай хотя в Гваделупу. Нет, не кует, не предпринимает, не едет в Гваделупу... Как жил, так и живет, от выпивки до выпивки, лакает все, что одурманивает, хотя бы немецкий спирт «Рояль».

Повсюду можно услышать: такой-то перепил «рояля» и откинул копыта. И все равно пьют, никто не задается вопросом: быть или не быть... Удивительный народ! Непостижимый!

— «Ветерок» у меня барахлит, — сказал Володя Жихарев, — и в Корбеничи ко мне должен друг из Тихвина приехать. Счастливо!

— Счастливо, Володя!

Вчера под вечер пошел на Ландозеро. Шел медленно, в каждом шаге вынимая сапог, а в нем и ногу, из снега, воды, болотины. Шел борами, где летом прогуливался, как англичанин в Гайд-парке. Впрочем, в Гайд-парке другие флора, фауна, и прогуливается англичанин с другими мыслями, чем я в ближних борах... Увидел Ландозеро и не узнал: лоно вод у этого, северного берега укрыто недужно-синеватым истаявшим льдом; у того берега чисто. С превеликим трудом, култыхаясь в снежных увалах, вышел к протоке, где прошлый год хорошо ловился красивый ландозерский окунь. На мшаре лежала свежееотесанная березовая палка. Не мог понять ее назначения, пока не разглядел следы острых зубов: березягиной лакомился бобер; бересту содрал, тут же валялись ее завитушки; древесину с соком употребил на завтрак, обед или ужин. Может быть, на десерт.

Закинул уду, поплавок утоп: не пожалел свинца на грузило. Свинца у нас никогда не жалели, хоть на пули, хоть на что другое... Стал грузило обкусывать-ужимать, не пожалел собственного зуба — из последних, заглавного во рту. Зуб крякнул и сломался. Я его вынул, вижу: зуб свое отслужил, изнасился у основания. Но еще бы покрасовался, если бы я не кусал им свинец, а пробавлялся пшеничной кашей, хорошо упревшей в печи. Жалко зуба, но я подумал: бывали утраты и много похальчей...

Закинул уду с обкусанным грузилом, поплавок не ворохнулся ни в этом месте, ни где бы то ни было. О чем с полной ответственностью могу доложить вам, милостивые государи и милостивые государыни: в начале мая на озерах у вепсов окуни не берут. За это знание я отдал собственный возлюбленный зуб.

Дует, как с цепи сорвался, с грохотом, ревом, чистый запад, разве с маленьким склонением к югу, нанес прорву низкой черноты на небо, насыпал, насеял, напрыскал столько воды: соступишь из сеней наземь — как в топь болотную, по щиколотку.

Поздно вечером... Впрочем, по-здешнему поздно, а так часу в десятом я уж было залег, задремывал... Слышу, скребутся. Я громким голосом: «Брысь!» — это я на мышей, мыши ненадолго утихают после моего окрика. Опять скребутся, в дверь. «Войдите». Входят двое, кто такие? Не вижу.

— Я Андрей, медик из Корбеничей.

— А, Андрей... Ну, проходите.

Андрей рассудительный, спокойный, обстоятельный малый, четвертый год медиком в Корбеничах. И жена его Юлия тоже в медпункте. Их дочке Оле уже два годика. У них есть коза, родила двух козлят, заведены барашек и поросенок.

— Ну, что нового, Андрей, у вас в Корбеничах?

Мне так не хватает местной информации. Без российских вестей, тем более заграничных, легко обхожусь, а всякое местное событие переживаю как факт собственной биографии.

— У нас все по-старому, — медленно, рассудительно отвечал Андрей. — Все дети, которые уехали в город, вернулись, работают вместо старых в совхозной бригаде. Фермеры, что взяли землю у Харагинского озера, четырнадцать гектаров, недополучили кредитов, что-то у них не получается, в общем, прогорели. У дедушки Федора Ивановича Торякова я измерял давление, было 260 на 120. А он говорит: «У меня голова не болит, ниче себя чувствую. Таблеток больше принимать не буду». Он вообще законный гипертоник, у него обычное давление 180 на 100. Володя Жихарев стал выпивать. Он пока не пил, почти два года, денегат подкопил, собирался дом строить в Усть-Капше, а сейчас, по нынешним ценам, все пошло прахом. Он когда не пил, все равно же в нем наркотический рефлекс действовал, была потребность одурманиваться. Он стал лекарства принимать, снотворное, демидрол — все, что придется; его бессонницы мучали. Кто-то ему дал какое-то снадобье на спирту. Он ко мне прибегает, говорит: «Все, Андрей, теперь сдохну, мне же ни капли спиртного нельзя». А у него, вы знаете, была «эспераль» защита.

— Да, знаю, он мне показывал, хвастался: «Как у Высоцкого».

— Ну что ему делать? А у него товарищ — врач в Тихвине, к нему приезжает на охоту, на рыбалку. Он ему говорит: «Ну что ты будешь мучиться? Давай я тебе вырежу ампулу». А он сам хирург. Взрезал, а там ничего и не было. Внушением действовали. Володя Жихарев поддается внушению. Он, в общем, даже мнительный.

Когда Андрей, будущий корбеничский медик, учился в Тихвинском медучилище, английский язык ему преподавал Валечка Максимов... Мы с Валечкой сидели на одной парте в пятом классе в тихвинской школе, в 1943 году. И он относил мои любовные записки однокласснице Рите. В одной записке, помню, я написал: «Рита, все убито, Бобик сдох». Я полагал, что в этих словах в высшей степени высказано мое любовное чувство к Рите. Эти слова я где-то услышал, а своих еще не имел.

В позапрошлом лето Валечка Максимов гостил у меня в деревне, а меня как раз прихватила нестабильная стенокардия; нитроглицерин не снимал загрудинную боль. Валечка сбегал в Корбеничи за своим учеником Андреем; обратно их привез на моторке Володя Жихарев. В нашем велсовском государстве все друг с другом связаны какими-нибудь общими происшествиями или потребностью друг в друге.

Загрудинную боль вовремя не снимешь, и стенокардия обернется инфарктом. Это я уже пережил.

Я ничего не хочу обобщать, держусь только местного факта, ибо вижу, как обобщение привносит в жизнь мнимое, навязчивое возвышение одних над другими, соответственно ниспровержение, то есть вражду и ложь. Тем более не берусь судить о «русском характере», зная, что тотчас поставлю себя в положение агитатора — «про» или «контра», а от этого упаси меня Бог. Я думаю вот о чем: таким, как Володя Жихарев, русский, не мог бы стать ни один велп из живущих в нашей местности. Не обобщая, позволю себе предположить, что есть в Володе некая романтическая беспредельность, то есть неизмеряемая амплитуда поступков, от высокого до низкого. Володя бросит все, даже самое неотложное, и отвезет тебя по озеру на «Вихре» или «Ветерке», хотя тот и другой барахлят. Он сделает это совершенно бескорыстно или отдаст тебе в дожди, в холодрыгу собранную клюкву или последнюю, ну, предпоследнюю «беломорину». И он же мог... Но не буду да и не знаю за ним дурного, разве что себе во вред. И хитрованство его, актерство, вхождение в какую-нибудь роль, как в рассказе Шукшина «Миль пардон, мадам» у «чудика», — от подспудного таланта, от «русского характера». Володя охальник, матерщинник, пьянь, голъ перекатная и т. д. Все это про него можно услышать в магазине села Корбеничи от Володиной сожительницы Люси в речи ее, ко всем обращенной, в крайних выражениях. Здесь же можно услышать и Володину характеристику его собственной жены Люси.

Что есть в Жихаре и, может быть, главное в нем, так это его родственность лесу и водам, совершенная невосприимчивость к переменам погоды, ненастьям, умение притулиться под каждым кустом, особенная кротость, ровность, способность к чему бы то ни было приспособиться, одинаковость в обращении со всеми. И еще в нем есть некая должностная фанаберия, тоже русская черта. У него в служебной каморке коменданта, то есть сторожа «базы отдыха» Тихвинского химвкомбината, имеется телефон. И вот ему кто-то звонит или он кого-нибудь набирает — произносит с абсолютно серьезной миной: «Вас слушают. На проводе Владимир Ильич». Так зовут Жихаря: Владимир Ильич. Он лицедействует и всегда остается самим собой.

И вот Владимир Ильич Жихарев прочтет то, что я про него здесь написал. Как отнесется? Во-первых, едва ли прочтет, если я сам ему не вручу. Отнесется самым неожиданным образом, это точно, не так, как можно предположить, а напротив тому. И любое его впечатление от прочитанного будет недолгим, его занимают дела куда как поважней: рыба в сети, бобина в моторе, клюква на болоте, заготовка ивового корья, глухари на току, где взяты 130 р. на «Стрелецкую»? И давайте себе представим гамму переживаний корбеничского лесного бродяги, счастливого бедолаги, стойкого страстотерпца, как он гордился, имея в собственной тощей заднице зашитую туда врачами в порядке исключения: другим не поверили, а ему поверили — ампулу «эспераль», «надежду», «как у Высоцкого», — как совладал с главным врагом — самим собою, два года в рот не брал... И как его обманули, ах, как подвели — ничего не зашили. Кому же после этого верить?

Сходил на Берег, поздравил с Днем Победы Александра Михайловича Макарова, полковника в отставке, семидесяти трех лет, в войну командовавшего артдивизионом под Сталинградом. У полковника прыгала правая рука: он перенес инсульт. «Вот, война дала себя знать,— сказал полковник.— Под Сталинградом контузило, я тогда и значения не придал. На тракторе пушку вывозили, как раз готовили прорыв под Илларионовкой. Две мины взорвались. Я в медсанбат сбегал и вернулся в часть. И вот, пожалуйста, инсульт, а потом еще почку вырезали. У меня был выход: лежать кверху пузом дома, ждать, когда смерть придет. Ну, я думаю, когда придет, тогда придет, а я, сколько смогу, еще вот здесь в огороде покопаюсь. Уже посадил, что холодов не боится. Вон чеснок вылез».

Вчера к вечеру вдруг разъяснило, север дул весь день, всю хмарь выдул. Я думал, что наступил тот редкий здесь поворот на «ясно», каковые скрашивали жизнь бедного вепса, а нынче ободряют удрученного дачника. Ночью на Божьей воле образовалась картина Куинджи: на небе Луна с краюхой-ущербиной влево, в зелено-вато-серебристом свечении; справа повыше Венера и более ни единой звездочки, а внизу дрожание расширяющейся лунной дорожки на Озере. Тот берег черный, наш осянный — и более ничего постороннего, только это: лунная ночь.

Утром меня разбудила птица, сказала, что солнце взошло. Вышел на волю: от леса, с лугов доносилось бормотание тетеревов, как в старые добрые времена, при дедушках: Аксакове, Тургеневе, Пришвине, Соколове-Микитове. И так же куковала кукушка. На небе ни облачка, ничто не предвещало никакого ущерба ясному дню. На Озере лопотали крыльями крохали.

Утром с дачником Львом распутывали сеть, поплыли ставить, тут вдруг небо заволокло, полилось; так и льется. Сейчас на дворе десять вечера. День прошел. Я спал на печке, варил дважды кашу, кипятил в печи чай.

«Горит свечи огарочек...»

Обживаюсь в избе Владимира Соломоновича Бахтина. Моя-то продана, я уж писал про это. В деревне нас трое: я, кооператор Сергей и вот прибыл Лев. У меня пока что, в моем обиходе, две избы. Изба Соломоныча поприютнее бывшей моей, поставлена не совсем лицом к Озеру, а бочком, так что Озеро видно и солнце заглядывает.

У печи в избе Соломоныча маленькое чело, в этом есть свой резон: жар наружу не выходит, а нагревает бока и спину печи. И так мне сладко спалось в первую ночь на этой печи. Вот кому что: одним достанутся в жизни почет со славой — греют, хотя это, собственно, пустяки; другим утешение в детях, внуках — это отратно; у третьих добрая жена стряпуха-хлопотунья. Ну и так далее... Обделенному долгогреющими благами в какой-нибудь момент его судьбы предоставляется русская печка, всю ночь задарма без устали греет. Ну ладно, об этом уж говорил.

Утром встал в шесть, холодно, пасмурно, тетеревов не слышать; жаворонки в небе затеяли трезвон. Сбегал на лодке Льва, посмотрел сеть — пусто, пробежал с дорожкой — то ли рано, то ли поздно, то ли холодно, то ли высокая вода, то ли щука ушла в берег, то ли не пошла...

Вернулся в избу, сварил в предпечье на лучинках чайку. Изладил на подворье козлы, напилл черемухового сушняку. Вспомнил: «Лошадка, везущая хворосту воз...» Лошадка везла воз хворосту, очевидно, для топки печи. Печь можно топить хворостом. Выведрило. По радио обещают мороз. Да мало ли что обещают по радио.

Утром дул север пополам с западом, то есть это — верховка: север, запад наверху, юг, восток внизу. Утром было тихо, все как должно быть на селе ранней весной. Хотя весна, по срокам, на излете. Тетерев издавал хриплый воинственный клич, но не сыпал, не гулькал, не токовал. Или я не услышал. Я сошел в студеное, с восходящим солнцем, с истаявшей, как лед на Ландзере, луной, с жаворонками, парой лесных голубей-вяхирей с белым пером, с кукушкой майское утро — с неостывшей к утру печи с ее почти бесконфликтными снами. На теплой печи сны снятся недраматические. Вот. Утро было с морозцем-утренником, припудренное инеем, а на печи... Будешь ерзать на печи и развалишь кирпичи.

Северо-запад так и дул весь день, с обеда завыл крайней силы северик.

И все знамения, приметы, предчувствия, внушения... Топил печь, соображал: ежели бы ее истопить двумя охапками березовых, еловых, осиновых дров, она бы и теплом раскошела. Березовые дрова были так же несбыточны, как суп с клецками на первое, макароны по-флотски на второе... И вдруг словно кто-то меня толкнул (Ангел, кто же еще?): спустись в подпол. В подполе моей старой избы... Десять лет жил, ни разу не слазил, а ведь хозяйка, торгуя мне избу, с непроливающейся внутренней слезой открыла: «Там в подполе дров полно у меня заготовлено, на зиму хватит». Зимой изба стояла без меня, а к лету забылось. И вот... стоило мне думать о березовых дровах, — извольте, горят в печи ровным спорым лижущим пламенем, с синевой, с каким-то слитным звуком, будто в горении добрых дров присутствует пенне. Ну хорошо, дров у Галины Денисовны Кукушкиной заготовлено много. Она продала мне избу с дровами. Теперь она продала ту самую избу другому мужику, надо думать, без дров, за другую цену. Дров в подполе никак не может быть: самый нерадивый хозяин сжег бы до щепки за десять-то лет.

Я говорю Льву: Лев, так и так, мне этих дров из подвала не вытаскать, у меня был инфаркт, есть нестабильная стенокардия, язва двенадцатиперстной кишки и еще кое-что по мелочи. Хочешь, бери... День на исходе, а Лев все трудится, пятилетний Димка ему помогает. Только подумал: вот бы и мне, — слышу, уже везут на тележке...

Десять дней живу в деревне, провожу мои весенние каникулы. Весна как будто остановилась в том состоянии, в каком была, когда я ступил на этот берег. Почки на черемухах все те же, березы на той стороне белесоваты, осины дымчаты, чуть желтеют ивы-вербы. Во всем зачарованность: природа чего-то ждет — дадут тепло, и можно зазеленеть, распуститься, зацвести. Я пережил в деревне десять дней отсрочки весны; весна не двигалась, не меняла окраски, настроения. Десять дней поливал дождь, дули свирепые, как моджахеды, ветры.

Окошко в кухне прямо на запад. Посередь окошка садится солнце, наполовину село в темный лес. В Озере отражается лес потусторонний, неподдающийся велению или приглашению весны изменить цветовую гамму, отрешенный от хода времени, непричастный. Правда, двинулся: зажелтели черемуховые почки, ивовые пуховки. Ближний лес, по сю сторону, — веселее, зеленее, и у нас виснут дрозды-пересмешники соловьями, криаюют утками. Реки убралась в берега. По утрам хрустит под ногой иней. В урманах лежит снег. Глухари то ли поют, то ли молчат. Неубитые глухари. Кто убивал заозерных наших глухарей, таких я знаю двоих. Сам за десять лет топтания здешней тайги не произвел ни одного выстрела в живое существо, не нанес урона фауне (нет, вру, убил одну белку, скормил оголодавшей собаке Песси, так она рьяно работала по белке).

Однако нынче в мае иду в лес с ружьем. Подхожу к Сарке, река все еще бесится; ольхи по ее берегам, побывавшие на стремнине, переболевшие водянкой, стоят неодетые, неприкаянные, как беженцы с Кавказа или из Средней Азии. Но вскоре укоренятся, зазеленеют, обростут высокой травой. Я иду на ток, меня не может остановить Сарка; вхожу в поток с поднятыми коленниками. Сарка сносит меня, валит, захлестывает поверх голенищ. Но я перехожу поток, разубаюсь, отжимаюсь. Все ладно, в порядке вещей: идти на ток с сухой ногой — это против правил. У входа в дальние боры, где на пригорках и в падах токуют мошники, обретаю табор, с кровлей из елового лапника: вороги этого тока, вообще рода глухарино (и человеческого), очевидно, возглавляемые Жихаревым, коротали здесь полночи, до урочного часа. Ну что же, и я...

Луна взошла круглая, без вечной своей зеленоватой спутницы Венеры, покатила вправо, путалась в сосновых кронах; на ее лике постоянно проступали рожи, гримасы. Луна светила ярко, направленно, как юпитер на сцене. Костер из отволглых дров не очень-то меня грел (срубить сушину чего-то не хватало, хорошего топора или бодрости духа); чай из снега получился вкусный. В два часа ночи — по новому, весеннему времени — я был в месте предполагаемого тока. То есть, каковы пределы места, облюбованного для токованья, знает только летящий на токовище глухарь. Вычиркнул спичку посмотреть время. Неподдалеку с вершин сосны слетел глухарь, до времени проснувшийся, очевидно, обеспокоенный, нервный.

Небо на востоке зазеленело, прояснело; затренькали пичуги; приморозило; заколели мои непросохшие ноги. Встретив зорю в лесу, вернулся к костру довольный, даже и не уставший. Ну хорошо. Потянуло на печку.

16 мая. 7.30 утра.

Менять узор и бег огня
 посредством кочерги
 в печной разверстой пасти...
 Смотреть, внимать добру тепла
 и, голову склоня,
 остатний хлеб делить на части.

Абсолютно тихо, чуть дует невесть откуда. Уезжаю, уезжаю, пять картофелин сажая... Высоко в небе шкворчат жаворонки. Вдруг приходит кардинальная (радикальная) мысль. Вышел выгрести из кастрюли недоеденную овсяную кашу — птичкам Божиим... В сознании (подсознании) замигала сигнальная лампочка (кардинальная мысль): съешь сам, съешь сам, съешь сам. Превосходно!

Копал полосу под картошку, разумеется, задерневшую. Нравственная дилемма возникла сразу, по первому отвалу дернины: как быть с червями. Резать, рубить их сплеча лопатой не поднялась рука. Вытаскивал, отпускал в черную землю. Но пришлось и порезать, порубить.

Пора в путь-дорогу, такую далекую, что не приведи Бог. Пора, мой друг, пора... Прощай, моя деревня! В эту весну ты была ко мне, как всегда, строга, взыскательна и милостива. Милость воистину царственная: лишился одной избы, обжился в другой — уютной, охотничьей, рыбацкой. Никакой другой карьеры для себя не вижу, в охотничьей, рыбацкой избушке надлежит... ну да, соответствовать. Первое, к чему быть готовым, — к утрате, может статься, и этой избы. Главное содержание человеческой жизни — утраты; надо знать, чем заместить утраченное, куда отойти. У меня припасена изба в деревне Чоге. Туда и лежит мой путь.

Под вечер сошел с автобуса на остановке «Кончик». Здесь кончик большого села Пашозеро. Тащился по селу с сумой на плечах, стучал клюкой по асфальту. От остановки «Кончик» до деревни Чоги семь километров. Думал, к ночи доканделаю. Из каждой усадьбы вдоль дороги на меня кидалась собака как на чужого, облаивала, передавала соседней собаке. Тут навстречу малиновая машина, за рулем директор «Пашозерского» совхоза Михаил Михайлович Соболев — мой добрый Ангел простер мне руку попечительства. Машина остановилась. «А я смотрю, никак это Глеб Александрович», — ласково приветил меня Соболев, приглашая в машину. Вдруг стала не жизнь, а малина. Приехали на озеро, сели в лодку: я, Соболев, Соболева зять — закурили душистые индийские сигареты. Зять греб, Соболев вытаскивал сети, вываливал на дно лодки крупных окуней, лещей, плотвиц. Потом что-то ели, что-то пили. В новолунную ночь Соболев привез меня к новому дому на берегу озера. «Вот, я построил дом. А здесь мой скотный двор». Во дворе хозяин задал корму дойной корове Зорьке. Корова благодарно брякнула колокольцем. «А здесь боров Федька». Боров с пониманием хрюкнул. «Здесь гуси». Гуси загагакали. «Мясо, молоко у меня свои, — сказал довольный собою хозяин, — и рыбы пока что хватает. И пух, и перо. Завтра совхоз разгонят, а у меня ферма, я — фермер».

Директор совхоза «Пашозерский» Михаил Михайлович Соболев свез меня в комнату приезжих, принес крынку молока. Я спал на казенной постели, на казенном белье, как в старые добрые времена. В деревне Чоге... Но об этом когда-нибудь в другой раз. Из Чоги в Питер ехал Большой Начальник, построивший в Чоге дачу. Мне нашлось место в машине Большого Начальника. Картошка уже взошла, черемуха отцветала.

2

13 августа. 22 часа 30 минут. Горит свеча, стекает воск. Володя Жихарь пьяный в лок. Можно быть пьяным в лоскутки...

Лоскотал мотор в железном корыте Володи Жихарева. Куда-то он ездил, купил буйный «Вихрь», но что-то из «Вихря» выпало; денежки, скопленные на строительство дома, плакали — при опущенных ценах; в том месте, куда вшивали Володе ампулу «эспераль», «эсперали» не оказалось (при вскрытии того места). Володя не стал строить дом, стал выпивать. Его жена Люся пожаловалась директору химзавода, которому принадлежит база отдыха с комендантом Володей Жихаревым: «На базу приезжают,

пьянствуют, и мой муж вместе с ними». Директор ответил Люсе: «Для того и база отдыха». Обескураженная Люся осеклась.

Володя спросил у меня просто, по своей хитромудрой простоте: «Когда это кончится? Так же быть не может». И сам ответил: «Ты умрешь. А я не умру. Я на свежем воздухе, рыбы поймаю, из леса чего принесу. Весной семь глухарей убил. Картошка у меня посажена. Я сам себе еду готовлю, сам себя обстриываю. А ты в городе ную потерял. Ты умрешь».

Ты напиши в какой-нибудь детский журнал, в «Мурзилку»,— предложил мне Володя Жихарев,— про моего кота Кешку. Я в лодку иду— сеть проверять,— он за мной и в лодку прыгает. А Матрос на него рычит, ревнует. Я уплыву, Кешка сидит на берегу, ждет. Ему первая рыбка.

Ты про меня написал,— сказал Жихарев,— мне отовсюду пишут: такие места прекрасные, природа, охота, нельзя ли приехать к вам жить? Двадцать писем пришло, я двоим ответил: природу губят, жить негде, работы нет».

В шесть утра Озеро было под белым пухом тумана. Сейчас десять часов. Росно. Догорает костер. Большой коричневый коршун низко прошел над травой. Трава некошена. Август без дождей. И июль, и июнь. Летом меня не было тут. Лето у вепсов прошло без меня. Я стоял-похаживал у пишущей машинки: на столе стул, на стуле машинка; у машинки машинист, выстукивает слова, предполагает выручить за них средства существования. В конце лета я отпустил себя в отпуск, теперь мой месяц в деревне. Ягоды поспели хорошо, грибов не слышать. Реки пересохли. Горючими стали трава и земля.

Вечером у костра: я — дед, моя дочка Анята, Анятин муж Юра — мой зять, внуки — Ваня 15 лет, Вася 10 лет. Ночью Анята вскрикнула: «Пахнет дымом!» Распахнула дверь, стали видны всполохи огня — не из чего, не на чем, на земле, на лугу. «Горим!» Выскочили в потемки, в жар, в ужас. Загорелся луг, огонь шел, ширился, возрастал. Я кинулся ломать черемуховые ветки. Черемуха неломкое, гибкое дерево... А огонь шел... Зять Юра, специалист по электронике, принес топор, нарубил на всех черемуховых веников. Мы захлестали огонь. Тем временем Анята приволокла из-под крутяка (деревня Нюрговичи; нюрг по-вепски — крутой склон) ведро воды. Тлеющую землю залили. Прикинули, что бы вышло, ежели бы огонь не унять... Можно приписать ночную пляску огня на лугу в августе 1992 года фантазии здешнего Лешего... Но лучше не оставлять после себя непотухших углей, даже на росном лугу, даже на старом кострище. Десять лет жгу костер на подворье, это мой домашний очаг — и вдруг такое лето, такая сушь, такая бедовая ночь с громами и зарницами; дунул ветер, высек из тлеющей гнилушки искру, и возгорелся пал. В бездождное лето стали горючими трава и земля.

Вечером у костра под уху так славно было выпито в семейном кругу, так благостно долго чаевничали — и все могло обратиться в пепел...

В небе пыхнула зарница,
На суку хохочет бес.
Нет, ребята, здесь не Ницца,
Здесь косматый вепсский лес.

— На Сарку рыбачить не ходи,— сказал Володя Жихарев,— там были питерские с электроудочками, выловили всех форелей. И ведь, главное, не скрывают, а хватают. Вот как же так? Ну скажи, Глеб Александрович, ну ладно, власти сейчас нет, никто никого не боится, но сами-то внутри-то себя должны понимать?.. Ведь у самих у себя воруют: электрическими удочками ловили форель, ее уже больше не будет... Их же дети никогда не увидят. Вот скажи, как же так?..

Бездождное лето, засуха. Полным-полно черники, малины, последки морошки. Налилась голубика, покраснела брусника. По ночам погрохатывают громы, раскалывают небо молнии. Пахнет дымом, может быть, серой, как в аду. В атмосфере витает тревога.

Догорает свеча. На дворе полумгла. Нет на небе луны. Вот такие дела.

Тлеют угли в кострище у моего соседа Гены. Гена купил у Гали Кукушкиной мою избу, проданную мне Галей Кукушкиной в 1984 году, без оформления в сельсовете. Избу мне Галя продала за бесценок, как воз дров (и с возом дров в подполе). Какую цену взяла с Гены, я не знаю. У Гены большая серая страшная со-

бака с обрезанными ушами — Гера, кавказская овчарка. От своего костра я вижу, что у Гены есть усы и лысина. Пока что этого знания о Гене мне довольно. Днем Гена позвал:

— Глеб Александрович, заходите, похлебаем моих щец.

— Да нет, Гена, спасибо, вот Ванька вернется с Озера, будем обедать. Я заделал свой супешник.

Анюта с Юрой и Васей уехали, мы остались вдвоем с Ваней.

Живем в избе Владимира Соломоновича Бахтина, тоже недооформленной. Исполать тебе, Соломоныч!

Володя Жихарев спросил у меня:

— А что, Соломоныч не придет? Хороший мужик! Александра Михайловича Панченко, что к тебе приезжал, часто вижу по телевизону.

На базе отдыха в Корбеничах у Жихарева есть телевизор, телефон, пес и кот.

— Вот был Васька,— поделился со мною местной новостью Жихарев.— Вообще-то какой он механизатор? Ну, сел на трактор, у кооператоров... Поддавши был и поехал по новому мосту...

Да, в этом и главная новость: через Большое озеро перекинут мост; наше заозерье связано с большой землей. То есть мост не перекинут, уложен на понтоны; мост наплавной. Был митинг по случаю открытия моста, был праздник! На празднике заглавное лицо Соболев — инициатор; мост построил тихвинский Трансмаш. Весною Соболев и меня приглашал на открытие моста, но я пребывал в нетях...

Так вот новость Жихаря: Васька поехал на тракторе кооператоров, конечно; сильно поддатый, по новому мосту, а что-то у него вышло с бабой. То есть баба была резко против, чтобы Васька поехал на тракторе поддатый, а он психанул. Посередине моста нажал не ту педаль, трактор разворотило... Глубина озера в этом месте метров шесть. Васька успел выскочить, а сидевший с ним рядом мужик, молодой, хороший, в общем и непьющий, отец двоих детей, за что-то зацепился, так и остался на дне. А спуск водолаза нынче стоит четыре тысячи. Когда водолаз все же спустился, труп из кабины трактора извлекли разбухшим.

История, рассказанная Жихаревым, настолько знакома, тривиальна — для этих мест и многих других, что можно бы ее и не воспроизводить. В самом начале моего обитания на Вепсовщине в Большом Озере против нашей деревни утонули двое рабочих — шефы с питерского завода. Везли из Корбеничей водку на всю артель, по дороге прикладывались, лодку перевернули и камнем на дно. Тогда было время застоя, как утверждает профессор Углов, народ планомерно спаивали; послушный власти предержащий народ безропотно спивался... Но в наше-то время каждому предоставлена возможность самоосуществиться, что-нибудь предпринять, во что-нибудь себя вложить. Никто о тебе не попечется. Сам не попечешься — и не разочтешься!

Вчера с полдня задул южак, теплый, как атмосфера в дружной семье, нанес дождевых облаков, но дождь не пролился. Продолжается сушь; тепло, мягко, пасмурно.

18 августа. Шесть утра. В деревне проснулись мы двое: я и собака Гера в соседней избе — кавказская сторожевая. А вот вышел и хозяин избы Гена, сейчас плеснет керосину на поленья, вспыхнет костер. Гена сядет на мокрую траву принимать утренний чай.

Вчера был первый тихий вечер без ветра, сегодня первое тихое утро. Южный ветер силится нагнать дождя, но чего-то ему не хватило — пересилить сушь; дождь проливался и унимался.

На небе огрызок луны; леса зелены. Если продолжить писать в рифму, то выйдет так:

Пишу без тщания ко слогу,
поскольку время эпилогу;
зрю в окоеме знак беды —
писатель, сматывай уды.

Был день нашей с внуком Ваней рыбалки. Мы заплывали на лодке куда нам хотелось, до края озера. Окунь у Вани брались, мою снасть только понюхали. Мы вернулись домой, в избе что-то было не так. В двери была сдвинута задвижка, кто-то в дверь заходил. В сенях сложен костерок дров, под него засунуто сено. Едко пахло дымом из нутра избы. Полагая, что кто-то из моих близких явился без меня, затопляет печь, я воскликнул: «Кто здесь топит печь?» Никто не отозвался. Сразу при входе в жилое помещение тлеет уголь, потрескивало. Еще бы несколько минут,

и изба занялась бы. Неминуемо вспыхнула бы трава; пал слизнул бы деревню Нюрговичи — ее вершинную часть, Сельгу, Гору... В ведре достало воды залить горящий угол. Стало нечем дышать. Завелось дело о поджоге избы писателя Горышина, то есть избы собирателя фольклора Бахтина, в которой квартировал Горышин, нештатный летописец села Нюрговичи.

Поблизости колготился на мотоцикле Валера Вихров, судя по всему, приятель моего соседа Гены. Я его позвал, он пришел.

— Ты местный человек, Валера, вот смотри, кто поджег мою избы? По такой суши сгорела бы вся деревня...

Валера, голый по пояс, собирал и распускал мускулы на груди.

— Чухари на вас обижаются, — выговаривал мне Валера. — Вы пишете про чухарей и унижаете их. Вы про Жихарева пишете, а над ним смеются.

Выходило так, что моя изба подожена поделом хозяину. Валера Вихров меня обвинял, я оправдывался. Валера выступала в роли народного мстителя... Я предвидел, что мое летописание до добра не доведет. И вот мое добро, то есть чухарское добро, за коим езжу из года в год на берег Большого Озера, оборачивается злом. Так уже бывало, и не с одним мною, со многими авторами документального жанра; прототипы обижаются, не понимают добрых чувств автора.

После короткой передышки задувает южный ветер, натягивает с юга облачность. Благоденствие, патриархальность ушли из нашей деревни навсегда, как и вепская речь.

И восходит солнце.

Десять часов вечера. Запад светел, можно писать при свете запада. Днем сочился дождь. Ходили с внуком Ваней за Сарку, набрали малины, черники. Сварил в печи варенья, напек блинов, поели досыта, вкусно; в организме тотчас явились силы, которых не было до блинов.

С утра собирал подписи в «гумагу» насчет поджога. Общественность дачного местечка Нюрговичи требует разбирательства дела о поджоге избы Горышина. Таким образом, у меня в памяти отложатся два дела о поджогах: рейхстага и моей избы.

Я приезжаю в Нюрговичи набраться спокойствия, необходимого в наше время мыслящей личности, как кислородная подушка при удущье. Спокойствия не стало в деревне; все другое есть, а этого нет. В июле совхозные мужики скосили траву на горушках, заложили в ямы силос. Конечно, выпили. Пошли по деревне — во всех избах дачники, только изба кооператоров Андрея с Сергеем оказалась на замке. Дверь выломали вместе с косяком. Затопили печь, сожгли главную драгоценность кооператива «Сельга» — березовые плашки, на печи три года сушеные, для последующей художественной резьбы на оных. В уставе кооператива «Сельга», я видел, записано, что кооператив намерен производить художественные изделия из местных материалов. В чужой избе совхозные мужики гужевались до полного истощения припасов. Говорят, что у Андрея с Сергеем было припасено двадцать две пачки чая. Вернувшись, хозяева не обнаружили в своем разоренном гнезде ни чайники. Заново приживаться им не хватило терпения, да и кооператив прогорел. Заколотили избы. появятся ли, неизвестно. Отпала еще одна завязь жизни в нашей деревне; четыре лета, четыре зимы двое красивых, молодых, талантливых мужиков накапливали в себе терпение, языческую слиянность с природой, ее красотой — и все псу под хвост.

Как всюду во всей нашей бывшей державе, и здесь, на Вепсовщине, открывается линия огня — между местными и пришлыми, беспросветное, бессмысленное противостояние. Покуда в деревне оставались вепсы, хотя бы Иван Текляшов с дедом Федором, до огня, до разбоя не доходило. А теперь закон — тайга, медведь — прокурор. Зачем так вышло? Кому это выгодно?

В деревне Чоге, куда я однажды привез приبلудную собаку, ища, кому бы ее отдать в хорошие руки... Собаку взял у меня молодой мужик Николай, сантехник Пашозерского совхоза. У сантехника Николая была семья, двое детей, мотоцикл с коляской, он взял собаку, у него впереди была жизнь оплачиваемого государством работника со всеми гарантиями и обольщениями такой жизни — в той минувшей эпохе, в той бывшей стране с насквозь прохудившейся системой... В деревне Чоге мне сказали, что Николай застрелился: посчитал, что ему не поднять семью при новом порядке жизнеустройства. Из неограниченных возможностей нового поряд-

ка Николай выбрал одну: взять в руки охотничье ружье, повернуть его к себе дулом... Николай был совестливый.

21 августа. Вчера проводил внука Ваню на автобус. Вернулся в мое одиночество. Чайл его как блаженство, но вышло по-другому: позвали на собрание. Собрались в избе Ивана Текляшова, купленной Галиной Алексеевной, крепкой женщиной, в прошлом кандидатом в мастера спорта по академической гребле, за десять тысяч. В избе Текляшовых, Ивана и Маленькой Маши, родилось двое детей, всегда жили кошки, собаки, небось и хозяйева лаялись, по-русски и по-вепски, чему-нибудь радовались, ну хотя бы: корова отелилась, Иван шуку поймал, глухаря принес из лесу (по-вепски лес — корба), сын из тюрьмы вернулся... Захаживали соседи, бунчало радио, иногда появлялась картинка на экране телевизора. Чего не бывало в избе Текляшовых, так это собраний. Первое собрание дачников в избе Текляшовых. То есть у дачников собрание не первое, а в избе первое.

За председательский стол садится Лев, совершенно готовый к роли председателя, с вьющейся бородкой, высоколобый. Уточняется список дачников в том порядке, как избы стоят. Первый с краю Шапиро... Сидит жена Шапиро, в вельвете, в терракотных тонах, будто пришла на поэтический вечер Рецетера или Кушнера... Мотоциклист Леша, похожий на буддистского монаха, с женой Олей. Бывший кооператор Андрей... Ну да, бывший: кооператив «Сельга» не произвел достаточного для выживания количества художественных изделий из местных материалов. Теперь Андрей не кооператор, а просто дачник. Когда-то я сравнил его с царем Навуходоносором; сходство Андрея с царем древности стало еще более заметно: Андрей взматерел; из одежд наружу то и дело высывалась какая-нибудь часть его переполненного здоровьем тела — шея, грудь, плечо; было видно, что телохранитель хранит и лелеет собственное тело.

Ну и другие, незнакомые мне, с Берега.

Решали вопрос о сторожении деревни зимой, с ноября по апрель. Оставить деревню без сторожа означало бы... Ну да, то бы самое и означало. Сторожить в течение двух месяцев вызвались Леша с Олей. Леша помалкивал, представлял

— Мы с Лешей, поскольку уволились с работы, собираемся сюда насовсем приехать, нам жить не на что. Если бы вы нам заплатили бы, мы бы могли.

Стали высчитывать, по сколько взять с каждого извобладельца, чтобы дать сторожу узаконенный минимум зарплаты. Вышло по пятьсот рублей. Купившая избу у Федора Ивановича Торякова питерская женщина Ада, в прошлом геодезистка, подала реплику:

— Чего там по пятьсот, по шестьсот, как минимум!

Председательствующий Лев, программист-математик, деликатно, но внятно заметил, что и он мог бы посторожить месяц. Предложил себя в сторожа и бывший кооператор Андрей.

Вышла заминка: включать назвавшихся сторожами в список вносящих взнос на содержание сторожей или исключить. К единому мнению не пришли, отложили.

Специалист по телевизорам Валентин Валентинович выступил с предложением:

— Надо собрать деньги, купить им продукты, а то продукты подорожают. Подать заявку в сельсовет, пусть они закажут, привезут в магазин. И надо иметь дублеров. Вдруг, скажем, у Алеши или у Оли случится аппендицит... Надо, чтобы кто-нибудь был в резерве.

— Ой, да бросьте вы, — воскликнула Аня, — деньги соберем, и пусть они сами что хотят, то и покупают.

— Нет, — настаивал Валентин Валентинович, — пусть они напишут заявку, что им надо сейчас, а мы...

Председательствующий математик Лев задумчиво напоминал собранию, что и он, и он бы посторожил, но еще не знает, как получится.

Собрание шло уже третий час, в избе Ивана и Маленькой Маши, в избе Галины Алексеевны, в прошлом кандидата в мастера по академической гребле, малость надорвавшейся при разборке бани на дрова и потому помалкивающей. Когда пора было деньги на бочку, по полтысчонке нашлось у Ады и Валентина Валентиновича, другие замялись, потянулись из избы. Мой сосед Гена, хозяин моей бывшей избы, закуривая, процедил сквозь зубы:

— Х... какой-то занимаются.

Гена противостоит спящему дачному коллективу вкупе со своей кавказской сто-

рожевой Герой. Гера не трогает дачников до той поры, пока хозяин не свистнет. Да она и сама бы... Посмотреть ей в глаза, когда она утром выйдет из травы, остановится невдалеке, глядит как-то вскользь, но направленно, однозначно, прикидывает, сейчас приступить или погодить. Может быть, Гена придерживает Геру напо-следок, на тот случай, если дачники...

Я предложил Гене выпить, то есть он мне предложил, а себе не налил, тогда я ему предложил. «Я подшитый,— сообщил мне Гена,— попил, теперь отдыхаю».

Гена работает на мясокомбинате. Таков профессиональный статус кво в нашем дачном поселке. Еще есть профессор, доктор наук, живет в бывшем магазине.

А если взять шире? Но куда простирается широта огляда? Видение происходящего, мироощущение все равно что меха гармони: растянуть, сжать — равно необходимо для игры, производства музыки.

С утра поливал чухарский серый дождь. Лежа в постели на остях и будылях, читал «Пути русского богословия» Флоровского. Написано пластично, словесно орнаментированно. Более сказать ничего не могу: святых отцов, о коих трактует Флоровский, я не читал ни при какой погоде.

У меня в изголовье стоит заряженное ружье — на случай визита поджигателя или еще на какой-нибудь случай. Что я сделаю в этом случае?.. С близкого расстояния дробь летит кучно. А что потом?

Затопил печку, поел рожков с салом, попил чаю с ягодами черемухи. Нынче, видимо, черемуховый год, урожайный на ягоду. В Сибири ягоды черемухи в полной цене, а у нас эти ягоды мимо. Замазал глиной щели в стояке. В избе тепло, уютно. За окном зыбается под ветром черемуховый куст.

Нынче я приехал в деревню поздно, не давало сорваться с места сердце: загрудинная боль, нестабильная стенокардия. Если не уймешь боль нитроглицерином, не вызовешь вовремя «скорую», то нестабильная стенокардия обернется инфарктом (я это пережил, было). От этой болезни помер Николай Семенович Лесков. Если мне не изменяет память, по-латыни болезнь называется «ангина пекторалис». Из своей болезни писатель Лесков вывел фамилию героя рассказа «Железная воля»: Гуго Карлович Пекторалис.

Решительно никуда не хочется уходить, ни в лес, ни по дрова. Надо где-то добыть пятьсот рублей на зарплату сторожу. Я пошел бы в сторожа, пусть меня научат. Или так:

Не ходи, мой милоч, в сторожа,
Лучше кокни себя из ружа.

На собрании оговаривали круг обязанностей сторожа зимой в деревне Нюрговичи. Раз в день обойти деревню, посмотреть, что и как. Если обнаружится вор-одиночка или посягнет на чью-нибудь избу прохожий турист,— остановить, приструнить, задержать, выяснить личность. Ну, а если компания загулявших мужиков, с ними лучше не связываться, как можно скорее сигнализировать.

— Главное, это как можно гуще дымить из трубы, чтобы видели, что деревня обитаемая,— наставлял председательствующий Лев.

— Если мороз за сорок, пурга, то можно и не высовывать носу, греться у печи: в такую погоду воры тоже не очень шастают,— заметил сердобольный Валентин Валентинович.

— Нет уж,— твердо заявила жена Леша Оля,— какая бы ни была погода, раз мы взялись, тем более нам за это платят, мы обязаны каждый день деревню обойти.

Спорить с Олей не стали.

Под вечер сходил в лес. Мой Леший сподобился меня поводить в трех соснах. В прошлом году я позволил себе близость с Лешим, даже идентифицировал себя с запредельным существом, давал ему слово, он высказывался на страницах сей летописи, записывал мои поступки, им же руководимые — из запределья. Фамильярность с Лешим к добру не привела.

К ночи прояснело, похолодало.

22 августа. Пасмурно. Безросная трава. На траве дрова. На собрании о сторожах постановили каждому предоставить сторожам по кубометру дров. При моих инструментах — чем нарублю, на чем привезу?

Помню, три года тому назад я был с женою и дочкой в Англии, неделю по-

жили в Озерном крае — на стыке Шотландии, Уэльса и Йоркшира (Лэйк Дистрикт), в каменной избе, заложенной в XVI веке, на склоне холма над ручьем. Был декабрь, повевала метель; на склонах холмов паслись овцы здешних фермеров. Самих фермеров нигде не было видно. Избу загода снял — по рекламному проспекту — наш английский друг Ян Шерман. В избе из одного крана текла холодная вода, из другого горячая. Располагая нюрговичским опытом превращения холодной воды в горячую, я спросил у жены Яна Джин, откуда здесь горячая вода. Джин посмотрела на меня как на инопланетянина, объяснила, что у них в Англии вода поступает по трубам.

Пока у нас в Нюрговичах поливает чухарский дождь, побываем в той Англии, как я ее записал, сидя по утрам у камина.

3

Озерный край. Шесть утра. Кромешные потемки. Ночь лунная была; Луна полная, круглая, в ореоле, на совершенно безоблачном небе. Венера много ниже Луны...

Вечером мы наблюдали, как Луна восходила против Солнца; Солнце садилось за гору, Луна вставала из-под горы. Мы поднялись по овечьему выпасу на вершинное плоскогорье, нам открылась уходящая на все стороны плавность возвышенностей и долин. По склонам и по вершинам ползали овцы, сами по себе белощерстные, серые, но мазнутые одна синей, другая розовой краской, чтобы знали чьи. Из-под ног выпорхнула куропатка.

По-английски холмы — хиллз, но в Озерном крае — Джин сказала — не хиллз, а феллз, что значит повыше, посерьезнее, поближе к горам.

Наша изба... О, наша изба! Такой у нее знакомый запах, как в моей избе в деревне Нюрговичи на Вепсовской возвышенности; там тоже феллз, тоже Озерный край. Запах старого дерева, сгоревших в печи дров...

Камин в избе помещается в том самом месте, где некогда теплился очаг, согревал, давал пищу. Копоть на камнях — из XVI века, когда сложили из камня эту избу, этот очаг. Оттуда же и дубовые просмоленные балки. По-видимому, второй этаж построили в наше время; на втором этаже четыре спальни; внизу большая горница с камином, с кухонной выгородкой за прилавком, электрической плитой, холодильником, телевизором, эркондишеном. Из кухни есть вход в ванную комнату. У камина стоит хромированное (может быть, серебряное?) вешало для совочков, щипцов, кощережек: управляться с камином.

Камин топят (мне затоплять) дровами какой-то лиственной породы: дрова сыроваты (назавтра у входа в избу появится пластиковый куль с углем). Впрочем, Шерманы привезли с собой пачку брикетов долгогорящего вещества, по запаху пробензиненного парафина. Отщипнешь от брикета кусочек, кинешь в топку, поднесешь спичку, — долго, долго горит жадным пламенем.

Вечером после ужина сидели у камина; зашел разговор о духах: не может быть, чтобы в таком древнем жилище не обитали духи. Разговор полушутя, но, как всегда, англичане потребовали исчерпывающего объяснения. Джин сказала, что ни в какую загробную жизнь, в духов не верит, принимает за действительное только данную ей переживаемую минуту — то, что она ощущает и сознает. В чем не заподозришь меня, так это в солипсизме; она исповедует рациональный, прагматический материализм.

Но я ей все-таки возразил, в том смысле, что вместе с нами продолжают быть миры нам близких, умерших людей; люди уходят, но их духовная энергия остается. Мертвые разговаривают с нами, мы готовы им отвечать; общение душ не имеет предела; нам являются духи...

Джин без обиняков спросила, верю ли я в Бога. Я отвечал, что в Бога как надмировое существо не верю, но... Не допускающая ни в чем двойственности, Джин не дала мне договорить, заявила о своем абсолютном атеизме, неверии во что бы то ни было ирреальное. Требовательно глядя мне в глаза, Джин сказала: «Я не думаю, что советский человек (тогда еще был Советский Союз) может верить в Бога». Ее английский ум требовал однозначности. Я сказал, что, судя по всему, без жесткого как соединяющего, возвышающего людей над нерешимостью их проблем человечеству не обойтись в обозримое время. Большевики низвергли религию, насаждали марксизм-ленинизм как веру, но прошло семьдесят лет, и опять нужна духовная подпорка — в церкви.

Джин сказала, что в Англии церкви пустеют, люди разочаровываются в религии; католицизм приобретает черты диктатуры.

Джин сказала, что человеку не стоит полагаться на марксизм-ленинизм как на церковь, а надо искать опору в самом себе.

Джин сказала, что не может себя посвятить служению чему-либо вне того круга жизни, какой ей отведен. Она служит только себе и своим близким.

Профессия Джин Шерман — самая распространенная среди женщин Великобритании: домохозяйка, хозяйка дома. Ян Шерман — юрисконсульт одной из промышленных фирм в Бирмингеме. У Шерманов, как у большинства англичан, есть свой двухэтажный дом с приусадебным участком в три сотки в городке Доридже — пригороде Бирмингема. Я познакомился с англичанами в Ленинграде, в Михайловском саду, там они прогуливались под водительством моего знакомого гида Интуриста. Пригласил их на чашку чая, познакомился семьями, переписывались два года. Наконец получили приглашение приехать в Доридж. Потом англичане приедут к нам...

Горел огонь в камине. Было сколько угодно виски. На дворе была лунная ночь, вокруг простирался Озерный край...

Днем, когда мы приехали в эту долину на берег ручья, свернув с асфальта автострады на каменную дорожку, Ян определил по карте место, остановился у белого каменного дома (избы). Вокруг не было ни души. Дом оказался незапертым. Мы вошли, подивились роскошеству убранства (мы подивились, моя семья). Ян тотчас обнаружил несоответствие дома контракту, заключенному им с фирмой, сдающей дома в Озерном крае: в доме не нашлось камина. Был электрокамин и все прочее, а камин — чтобы сидеть у живого огня — не было. Это никуда не годилось. Мы отправились на поиски хозяина; он явился нам навстречу, приехал на японском лендровере. Указал нам искомый дом — с камином. Хозяин — фермер-овцепас, и у него четыре дома на сдачу дачникам.

На вид хозяин был обыкновенный сельский мужик, похожий на Ивана Текляшова из деревни Нюрговичи, в резиновых сапогах, в камуфляжной блузе, какие носят в десантных войсках. При входе в дом мужик снял сапоги, что делает и Иван, затопил камин. В отличие от Ивана, прокурившего все зубы сигаретами «Стрела», мужик Озерного края имел великолепные зубы, как у президента Буша, и разговаривал по-английски. Правда, он говорил на диалекте, которого не поняли и наши англичане. Ему налили полстакана виски, он выпил одним глотком, как пьет водку Иван Текляшов, утерся рукавом, еще раз показал нам президентские зубы и куда-то уехал на лендровере.

Больше встретиться с хозяином не привелось; нас предоставили самим себе — во всем Озерном крае, в это время года не заселенном приезжими.

Вечером Джин сказала:

— Завтра (туморроу) будем жить в свое удовольствие. Утром наварим вволю пиджа, будем весь день плевать в потолок.

Так и вышло; все выходит так, как задумано у Джин. Вечером мы сидели у камина, я рассказывал какие-нибудь истории из жизни у весов, Катя, закончившая английское отделение университета, переводила; другие тоже живо участвовали в беседе, хихикали, напоминали: расскажи еще вот про это...

Вечер незаметно перешел в ночь, Луну затянуло облаками, однако на дворе странно развиднелось: дверь наружу в избе стеклянная. В полночь посреди долины на берегу ручья в Озерном крае можно было читать книгу эссе Вордсворта, купленную мною в Грасмере, где Вордсворт прожил лучшие годы и похоронен.

Джин сказала, что вот здесь за холмом — она держала на коленях карту — живет ее подруга Клер, сногшибательная (мэрвилес) рыжая женщина, которую ей бы очень хотелось повидать. Карту Озерного края Джин вчера купила в городе Кендале, куда мы заехали по дороге от озера Виндермер в нашу овечью избушку.

Мы таки перевалим через холм, но Клер не застанем дома, повидаемся с ее мужем Тэдди Блэком и взрослым сыном Кристофером; Блэки, старший и младший, — фермеры-овцепасы; о них чуть ниже.

Сейчас на дворе раннее утро. Я один не сплю во всем Озерном крае; воздух здесь хороший... Как-то, помню, в селе Никольском на Вологодчине ко мне подошел мужик, почему-то заверил меня: «Воздух у нас хороший. Выпьешь, покуришь, а тоски нет». И здесь тоже: вчера выпил, покурив, а тоски нет.

В овечьем Озерном крае посреди холмов и долин, примыкающих к небу, можно ощутить себя гражданином Вселенной (никто не спрашивает паспорта), приоб-

щаться к нулевому циклу мироздания: се земля, се вода, се небеса. А се огонь в укромной полости камина...

Сидеть у огня, видеть в стеклянную дверь то, что было вначале...

Вчера мела пурга, несла в себе острые иголки, секла глаза. Но это было недолго, стоило перевалить горбину холмов, и опять стало тихо.

Сегодня 14 декабря. Кажется, самый короткий день. Он еще и не занялся, потемки на дворе. Я пишу в моей первой английской тетради, то есть купленной в Англии, в Грасмере, да...

Затеплен огонь в камине... Вернусь домой, меня спросят: «Что ты увидел в старой доброй Англии?» Я отвечу: «Я смотрел на огонь в камельке...»

Вчера ехали по автомобильной тропе. Тропа выстелена мелкими камешками, сцентментированными. Заехали к Хэйдл Эндрис... Будете в Озерном крае, загляните к ней на хуторок. Хэйдл напоит вас кофе или чаем, покажет, если пожелаете, то продаст великолепные вещи из местной шерсти, ею собственноручно связанные. У Хэйдл есть большой серый кот, охотно дающий себя погладить, есть куры. Хэйдл походя поглаживает по головкам свою животину.

Ее хуторок чуть в стороне от дороги вдоль ручья, Ян и Джин хорошо знают повертку...

Когда мы шли в деревню Кентмер в гости к фермерам Блэкам, Клер и Тэдди (Джин предварительно позвонила; автоматные будки стоят у развилок здешних дорог)... Нет, это было уже на обратном пути. Джин сказала, что осенью в этих местах охотятся на лис с гончими; лис убивают, приносят домой, устраивают празднества: все напиваются, лица у всех краснеют — от вина и от ветра, все танцуют старинные танцы, поют народные песни о том, как пасут овец, охотятся на лисиц.

В доме у Тэдди Блэка повешены на стене лисья голова и хвост, на табличке обозначено, кто убил лису, когда.

Тэдди Блэк — фермер — живет в деревне Кентмер. Я спросил у него, почему в деревне, а не наособицу, как другие фермеры, например, хозяин сданной нам избы, что значит деревня в Англии? Тэдди сказал, что в деревне шесть фермеров, одна на всех церковь, а больше ничего такого общего нет.

Сам Тэдди маленький, щуплый, в обыкновенном пиджаке, какие носят старые мужики у нас в селах. У него только необыкновенно большой нос — руль; это нечто британское, у наших таких рулей не бывает (небось, бывают, но я не видал). Тэдди Блэк сказал, что у него примерно семьсот овец или семьсот пятьдесят. Пятьдесят голов туда-сюда, могут пропасть, а потом найтись. Стригут овец (шипс) пять раз в году. Самое трудное время для овцевода это апрель, когда овцы ягнятся, тут уж гляди в оба. На это время нанимают работника, а так управляются вдвоем с сыном. Состриженную шерсть можно сдать сразу или хранить на ферме, но не до декабря. В объяснения, почему так, а не эдак, Тэдди Блэк не пускался, высказывал сами собой разумеющиеся вещи. Отвечая на мои вопросы, фермер составлял понятия обо мне, насколько я секу в овцеводстве. Я спросил, что знает Тэдди о России, Москве, Ленинграде, он отвечал, что слышать слышал, по телевидению показывают, но толком ничего сказать не может. Из разговора выяснилось, что в хозяйстве Тэдди Блэка есть корова, но не молочная, а для говядины (фор биф). Однако чай подавался с молоком, как всюду в Англии. Магазины в Кентмере нет (как и в моей деревне Нюрговичи), ближайшая лавка в семи милях отсюда.

Тэдди Блэк сказал, что у него на ферме две легковушки, пикап, два трактора и еще кое-что по мелочи. Понятно, что семь миль по асфальту для него не задача.

Устройство дома Блэков, собственно, такое, как всех английских домов в провинции: на первом этаже столовая-гостиная, кухня, на втором этаже спальни; у Блэков их две. Ванная совмещена с клозетом, электроплита, эркондишен и все прочее. Только в сельском доме поменьше порядка, чем в городском (хотя бы в городке Доридже), нет той чинности, стерильной чистоты и нет под окном лужайки. На кухне в доме фермера валяются резиновые сапоги, в том самом, что приносят наши мужики на своих резиновых сапогах из стайки; тем же и пахнет. Зато в доме фермера сохранились старинные фамильные предметы: часы с гириями, с кукушкой, утюг чугунный с полостью для углей, кофемолка-зернодробилка с деревянной ручкой. В сенях закудахтали курица, очевидно, снесла яйцо.

Когда мы покидали наш приют в долине между двумя грядами холмов — каменную избу со стеклянной дверью и эркондишеном, — Джин сказала, что надо все привести в тот вид, какой был при нашем поселении. Раздумывали, как посту-

пить с горячей золой из-под камина. Я предложил высыпать ее на грунт: зола суть удобрение, не повредит грунту. Но на это не пошли: такого до нас не было. Остудили золу (сама остыла): на дворе стужа, на вершинах холмов лег снег — высыпали холодную золу в мусорный бак.

Приводя избу в первоначальный вид, еще раз окинули взором великое множество предметов обихода, всевозможных вещей и вещиц, назначенных к одному — благорасположению постояльцев. Сервизы столовые и чайные — китайские, духовка для подогревания тарелок, электрические каминь в каждом углу, телевизоры, ковры, пледы...

Хозяин не посчитал нужным присутствовать при нашем убытии. На обратном пути мы заглянули к нему на ферму, но его не было дома. С утра овцы нашего хозяина прошли большой отарой куда-то к своим баранам.

Ян запер дверь гостеприимной избы, ключ оставил в двери в том положении, как он был до нас. Так и уехали, вздыхая, стеная от прихлынувших чувств: прелестное местечко! Пока! Вери найс плэйс! Гуд бай!

Моя деревня Нюрговичи тоже прелестное местечко, но, глядя на оставленный незапертым дом в Озерном крае со множеством дорогих вещей, я думаю о нашем мужике, однажды унесшем из моей избы пилу, удочку и швабру... Мне жалко до слез его, и меня самого, и всех нас бедных, разучившихся жить по совести. Англичане живут лучше нас не потому, что вкушают вкусную пищу из китайских сервизов, а потому, что собственность для них свята, как природа, история, камни, доброе имя старой прекрасной Англии. Сколько мы их попрекали за это самое собственничество, сколько свое родимое попирали, взрывали, экспроприировали, перераспределяли, разворовывали!.. В каком месте совесть потеряли? Как ее найти, вернуть?

За одним из поворотов за каменной оградой... Кстати, об оградах. Камни сложены на холмах в ограды с превеликим тщанием, очевидно, их складывали в XVI веке и ранее и по сей день складывают; кладка нигде не порушена; в оградах, пересекающих дороги, толково навешены ворота с запорами; у каждых ворот свой особый запор.

О каменных кладках мы тоже поговорили с Тэдди Блэком. Он сказал, что камни складывали для того, чтобы... освободить пастбища от камней. Ну, конечно, не только для этого, а и для другого: мы видели овец, спасающихся от ветра у каменных кладок; вместе с овцами жались у оград черные лохматые яки. В простом объяснении Тэдди Блэка: пастух собирает камни с пастбища, чтобы вольнее пастись было стаду — находится вполне реальное соответствие в Библии: время собирать камни. Очищали пастбища, заодно обозначали границы выгонов, создавали зачатки от ветра — материальная нужда скотопасов обретала духовный смысл: время собирать камни.

Каменные стенки на холмах (феллз) в Озерном крае настолько искусно выложены, исполнены бытийного значения, что одухотворяют холмы и долины, с прозеленью травы, ржавчиной жухлых папоротников, белыми снежинками, купами рыжих лиственниц, серыми валунами овец... Ограды на холмах Озерного края видишь не в их утилитарном назначении, а будто извечную оправу, что-то значащий орнамент. Если взлететь высоко, как парят здешние коршуны, может быть, сверху откроется замысел кладок, целостность их рисунка. Знаки крестьянских трудов всегда исполнены высшего смысла, гармонии, будь то хлебная нива, стога, каменные изгороди на холмах...

4

Был день отвода земельных участков новопоселенцам деревни Нюрговичи. Пришел председатель Алексеевского сельсовета Николай Николаевич Доркичев, в цивильном костюме, в кепке, в кожаных сапогах, с рулеткой. (Можно написать слитно: «срулеткой»: приусадебные участки у меня, моего соседа Гены, возможно, и у других служат отхожими местами; так что «срулетка» — инструмент для обмера отхожих мест; вот вам и неологизм.) Дачники высыпали на главный проспект деревни, где-то между моей избой и избой Льва. Председатель сельсовета посулил каждому дачнику отвести по двенадцать соток, пока, по существующему земельному законодательству, а затем... Затем бери земли, сколько видит око...

Мой сосед Гена проворчал:

— Чего делить? Земли — хоть жопой ешь.

Начали с краю, с Эрика Шапира. Эрик обежал с рулеткой свою будущую латифундию, Доркичев что-то записал себе в блокнот. Полдня гурьбой ходили по нашему крутойру, по зарослям иван-чая, зверобоя, крапивы. Не обошлось без междуособицы:

Ада поссорилась с Галиной Алексеевной из-за бани. Обе дамы купили избы — одна у Федора Ивановича Торякова, другая у Ивана Егоровича Текляшова — с баней, а баня одна: дед Федор доводится дядей Ванюшке. Судя по всему, спор о бане миром не разрешить. Надежды на мир не стало под нашими калинами и черемухами.

После того как молодая краткосрочная жена Валеры Вихрова (по весне сошлись), Адина дочка, сбежала от мужа под материнский кров, Валера приложил все усилия выманить любую себе подругу, взять силой (говорят, даже сделал подкоп под Адину избу, в ночи явился из погреба). Ада не выдала дочь несостоявшемуся зятю. Валера во всеуслышанье объявил, что застрелит бывшую тещу из ружья. То есть сама Ада поставила деревню в известность: «Или из ружья застрелит, или топором по голове тукнет».

Покуда со мною жил внук Ваня, как-то раз мы с ним поплыли в Корбеничи за хлебом. Я зашел к Федору Ивановичу, недавно похоронившему свою верную спутницу Татьяну Максимовну. Девяностодвухлетний, румяный, сивобородый Федор Иванович принес на стол поллитру, банку свиной тушенки, Ване налил чаю, подал сгущенного молока. Сам водочку пригубил, а я, хорошо выпив, отмяк... Текущая жизнь понуждала меня к отвердению, замыканию в себе, постоянной готовности к ответной реакции: то в моей избе другой хозяин, с собакой-волкодавом (человека задавит, как куренка), то пал в ночи, то поджог... Господи Боже мой! Выпивая за столом у моего старого друга, недавнего доброго соседа в деревне Нюрговичи Федора Ивановича, я погружался в теплые воды дружества, оттаивал для задушевного разговора. Дед мало что слышал из того, что я ему говорил, но точно улавливал настроение; нас с ним ничто не связывало, кроме как вот этот сердечный порыв обняться, выключиться из текущей действительности.

— Может, Федор Иванович, мы с тобой видимся в последний раз, — сказал я деду.

— Дак ведь что, Глеб Александрович, можа и так.

Мы обнялись, попрощались.

Прощай, Федор Иванович, с тобою и та жизнь, которой я успел надышаться. Нынче, знаешь, теснится в груди, воздуху не хватает — нестабильная стенокардия.

Пасмурно, холодно, дует ветер короткими порывами, как бы со всех сторон. Не хватает одиночества, коего в недавнем прошлом было по завязку. Нынче подглядывают изо всех окон; полощутся белые флаги простыней, наволочек, полотенец. Как обиженная-осерчавшая пчела, носится на мотоцикле Валера Вихров — местный моджахед, народный мститель. Иногда, торжественно-прямо сидя в седле, проезжает на мотоцикле собственной конструкции похожий на буддистского монаха супермотоциклист Алеша, будущий сторож. Не высовывает носу из крайней избы Юля Шапиро — муж Эрик уехал, Юля боится высунуть нос.

Вчера к вечеру, а точнее с полдня, все помыслы, предположения сошлись на одном: чем себя прокормить — не вообще прокормить, а угостить себя ужином или обедом... Каждое действие стало осмысленным: сделал удочку — дело левое, но явилась сложность в одной операции, для привязывания к леске крючка потребны два зуба, чтобы один над другим. Леску сложить в петлю, крючок всунешь, надо затягивать, а руки заняты; тут-то бы и прикусить кончик лески и потянуть. Двух зубов не нашлось в полости рта, крючок проваливался, петля не давалась. Операцию пришлось повторить раз восемнадцать, покада крючок утвердился на леске...

* Уда закинуто в Большое Озеро под крутосклоном против избы: идти в уловистые места нет времени, голод не тетка. Мой шанс стать сытым сосредоточился в розовом поплавке. Во мне прорезалась совершенно несвойственная мне терпеливость. Клынуло раз, другой и затихло на непредвиденный срок. Я предлагал червя у самого берега, закидывал в глыбы, заходил в воду, менял место стояния... Уже свечерело. Вышкерил поймавшихся окушков-плотвиц, заделал кестер, затеял ушцу: картошек, луковку, два листа лаврушки, десять перчин...

Пришел сосед Гена, хозяин моей избы, принес в бутылке чуток разбавленного немецкого спирта, прозванного у нас «роялем». Сам непьющий, Гена напомнил: «Я отдыхаю». Его подношение мне можно отнести за счет угрызения совести. Впрочем, чужая душа потемки, да и не все ли равно?

Уха поспела. Я выпил «рояля», заел горячей ухой. На столе горела свеча.

По китайскому транзисторному приемничку чуть доносился из-за океана голос для чего-то выступающего там Коротича. Коротич сказал, что у нас опять произошло не

то, что бы надо. Опять разыгралась никому не нужная революция; на улицу вышел жлоб, громила. Как будто Коротич не первым вышел на нашу, тогда еще неопасную для порядочных людей улицу со своим жлобством, со своим жлобским «Огоньком». Само словечко «жлоб» — из лексикона коротичей; у нас оно не имеет хождения.

Но и это все скучно, поздно: разоблачения, попреки, гримасничанье из-за океана...

Ухи хватило и на утро, и эти записи — на ухе из шести маленьких рыбешек. Жидковато? Ну ничего, ничего, еще не поймана моя главная рыба.

И, Господи! Как вспомню, сколько я нанизал слов в мои прежние нюрговичские лета, наболтал, напустословил — при достаточном денежном довольствии, при целых зубах, при электричестве, новостях по радио, при моей эйфории, при моей меланхолии...

10 часов вечера. Сходил в лес неподалеку, набрал черники и малины, как раз на варенье к оладьям. Сварил на костре варенье, напек оладьев.

24 августа. Утром было полное затишье. От тишины в ушах звенело, как будто все оцепенело. Недвижны в небе облака, как будто белые стога. Летят по воздуху пушинки, нигде не видно ни мужчички, ни дев, ни баб, ни кобеля. Такая осень. О-ля-ля!

С утра сидел за столом в моей трапезной-кабинете на пленэре, на бугре над озером, писал письмо другу из деревни — в стихах. Не другу вообще, а вполне конкретному моему товарищу, Александру Михайловичу Панченко, академику Российской академии; в позапрошлом году он гостил у меня в деревне; жизнь нам улыбалась. И мы улыбались жизни, ничуть не заискивая перед ней, на равных. В жизни тогда еще не нарушилось некое главное равновесие — между предположением и явью. Предположили попариться — вот полбк, вот веник; на последнюю баню в деревне новые хозяева еще не навешивали замок. И так, письмо другу.

Мой друг, тебе пишу издалека —
ты помнишь нами найденную местность?
Я сызнова сижу у камелька,
взираю на пригожую окрестность.
Уже порог подперли холода,
безросны по утрам некошенные травы;
чернеет в озере вода
и солнечны купаваы.
Любезный друг, поверь, я жду,
вдруг в мире что-нибудь случится:
сколькочечную звезду прибьют ко лбу —
пускай лучится?
А здесь у нас идет раздор
промежду осенью и летом;
листы дерев лепечут вздор
и коршун кружится над лесом.
Руководжу в печи огнем,
и тот выходит из-под власти...
Бывает, думаю о Нем
и о себе — порой, отчасти.
Мой друг, ты помнишь, мы с тобой
о чем-то громко говорили:
кто победит? идет ли бой?
кто жив? покойников зарыли?
У нас владеет Тишина
всевышним суверенитетом,
на всех, владычица, одна,
будь ты мурлом или эстетом.
А лучше, друг мой, приезжай,
у нас березы в позолоте
и поспевают урожай
ленивой клюквы на болоте.
Затопим печь и посидим
над нерешением вопроса,
они иль мы их победим,

и станет нам смешно и просто.
 Съедем сиротскую уху
 из востроносых шустрых рыбок,
 поговорим, как на духу,
 во избежание ошибок,
 о том, что есть и из чего
 произошло прямостоянье...
 Терпенье — только и всего!
 Переживем — без покаянья.

25 августа. Бездождный день с переменной облачностью, дует с востока, холодно. Вчера ходил по лесам, очаровывался, наблюдал, как одевшиеся в пух иван-чайные куртинки, лилово-розово-белые, вкрапились в сохлый травостой на лугах. Радовался, как явлению благодати, абсолютному безлюдью: ни души от горизонта до горизонта. Ходил на озерко, нахваленное накануне соседом Геней как богатое крупной плотвой. «Там плотвы, как говна,— сказал Гена.— Мы с Валеркой Вихровым взяли килограмм по пять на удочку. А в сеть не попало ни грамма». Я по простоте душевной и поверил.

Такие озерки здесь называют «ландозерками», очевидно, «ланд» имеет ту же этимологию, что и в слове «ландшафт». Плотвичное ландозерко оказалось недоступным: по его берегам бобры спилили осины, березы; ели сами упали. Образовались завалы, баррикады; у озерка не стало естественных берегов. В самом начале этих моих записок я выступал в защиту бобров, восхищался их трудовым энтузиазмом, коллективизмом, ударными методами строительства плотин. Я не то чтобы изменил мнение о бобрах, по-прежнему на стороне бобров, осуждаю бобровых шкуродеров, но надо же соблюдать и какие-то общие правила природопользования: если предоставить бобрам полный суверенитет, как Ельцин предоставил все народам бывшей империи, то ведь бобры все осины, березы попилят, все текущие воды загородят, и выйдет опять же по-большевистски, как при повороте северных рек; все обратится в вонючее застойное болото. Нет, лучше бобрам учинить укорот.

По обглоданной бобрами осине, опираясь на удилище, то и дело рискуя унырнуть в черную воду, подернутую рыской, я вышел на кромку зыбающегося мха, собственно, к озеру. Закинул уду, не клевало. Не время или в озерке только и было десять килограммов плотвы — всю выудили Гена с Валерой... Сколько смог, вытягивал вязнущие во мху ноги, то есть исполнял журавлиный танец... На обратном пути бултыхнулся в бобровую заводь. Явился из лесу домой без малейшей добычи. Такого еще не бывало в нашей богатейшей местности (бывало!). Впрочем, ради справедливости: на дороге к ландозерке я мог съесть любое количество переспелой налитой малины, мог обратить свое внимание на кочки, обсыпанные до меня не щипанной крупной, сладостно-сочной черникой. На одном болотце, в недавнем прошлом тоже ландозерке, потешил себя гоноболью — винной ягодой, открыл клюквенную плантацию, где, не скажу: вот уже начнется клюквенная путина...

Ну и так далее.

Утром пасмурно, росно. Грибов в лесу нет. Рыба не ловится. Достойное внимания попутное впечатление одно: сидел в лодке, тихо подгребал, тасил дорожку у самого берега; из травы к воде вышел серо-бурый заяц с грязно-белой грудкой. Заяц с аппетитом хрумкал прибрежную траву, поглядывал в мою сторону, не находил во мне ни малейшей опасности для себя. Должно быть, заяц-сеголеток не встречался с человеком-врагом, не воспринял от предков генетического предостережения: человек опаснее волка, лисы. Я подплыл близко к зайцу, он по-прежнему ел траву. Когда я его позвал по имени: «Заяц!» — он только пошевелил ушами в знак того, что слышит, но сейчас занят, некогда отвлекаться по пустякам.

Далеко за полдень. Тепло, пасмурно, без дождя. Проснулся с мыслью: счастье жизни. Счастье — проснуться одному в моей, пусть на время, избе, войти в день без малейшего нажима откуда бы то ни было. В этом дне есть все, нужное для счастья жизни. Красота? Вот она, хоть ложкой хлебай. Уха вчера сварена, до вечера хватит. Жена Валентина Валентиновича Галина Михайловна подарила мне кабачок со своего огорода...

Сначала взрасти огород,
 вскопай залежалую землю,

а после пеняй на народ,
который призвыу не внемлет.

Галина Михайловна рассказала мне, что родилась в лагере в Караганде. Ее папа и мама были такие комсомольцы-активисты, образованные, с идеями технари, что их посадили ранее общей посадки 37-го года. Они познакомились в лагере и поженились. У них родилось дитя... «Маме с папой все же повезло,— рассказывала Галина Михайловна,— у них были сравнительно небольшие сроки, после давали на всю катушку... Они освободились и сразу включились в работу, никакой надломленности у них не было. Мама пережила папу, женщины выносливее мужчин...»

Мы с Валентином сидели на крыльчке избы, доведенной им до ума, покуривали. На лице Валентина прочитывалось искреннее устойчивое восхищение собственной женой, ее мамой и папой. «У Галины Михайловны мама была отчаянная спортсменка,— поделился семейным преданием Валентин,— с Дворцового моста в Неву прыгала: на Первое мая на Неве был заезд шлюпок, а она с моста...»

Кабачок я зажарил на постном масле.

Вчера ходили со Львом на им, Львом, найденное по карте и компасу озеро. То время, когда я водил здешних новопоселенцев в угодья, дарил им то рыбалку, то морошковое болото, миновало. Лев изучил местность, знает окунеотдачу каждого водоема, ягодоносность каждого квартала. Впрочем, Лев не упускает из виду и коэффициент здешней красоты: «Я не знаю другого такого красивого места». Мы пошли со Львом на неведомое озеро — по карте, по компасу,— с сынишкой Льва Димкой, пяти с половиной лет. Лев взял с собой палатку, спальный мешок — Димке спать, все необходимое для костра и ухи, даже лопатку — обкопать кострище. Мы поплутали в буреломных завалах, но вышли к озеру, никем не троганному до нас, девственному, с агатового цвета прозрачной водой, с видимыми в воде изысканных форм стволами кувшинок, с тощими, изголодавшимися, жадными до червя окунями. Озеро помещалось посреди упругой ровности болота, тоже бывшего озера, усыпанного красной клюквой. Экая все же ягода клюква ленивица: валяется на одном боку, нет чтобы перевернуться, подставить солнышку другой бок: уже бы вся была краснехонька. А так еще сколько валяться.

Озерко будто живое, со своим выражением — замороженное око тайги. Выживать из него окушков как-то неловко: очень уж открытое место и окушок мелковат. Наташканил на уху и бросил.

За ухой говорили со Львом (Димка выспался в палатке, тоже подсел к ухе), что надо спасаться каждому самому. То есть Лев говорил, что каждый должен подумать, как себя спасти. «У нас есть, куда отступить,— сказал Лев,— картошки я накопаю мешков семь... И сейчас мы живем с огорода, из лесу...»

Чаю у нас не было, заварили малиновых листьев.

Днем мужики-дачники собрались всем гамузом, пошли вдоль линии электропередачи, валили деревья, угрожающие проводам. Вот вам пример новой собранности или общинности; прежде бы обивали пороги, требовали, жаловались; кто-то был должен, какой-то дядя, подавать электричество, а за дядей сельсовет, совхоз, в конечном счете партия и правительство. Теперь электричество в деревне на попечении образовавшейся здесь общины; без нее каждый сам по себе нуль, да и община нуль без бензопилы Валентина.

Летом вышел случай с бензопилой другого здешнего дачника. Плыли на лодке: Жихарев и дачник. Дачник вез в свои пенаты сервант, электродуховку и бензопилу. Все это могло поместиться в лодке только одно на другом: сервант, на нем электродуховка, сверху бензопила. В дорожку выпили, полплыли. По одной версии — качнула волна, по другой — лодку перегрузили, образовался дифферент, а в носу дыра. Как бы там ни было, в неизвестном месте (плаватели не зафиксировали) пила и духовка булькнули за борт. Измерили глубину: двадцать метров. Вернулись в Корбеничи, выпили литр на двоих, тогда уже доставили на место сервант. Вторая бензопила так и не завелась в суверенной Нурговичской республике, а как бы пригодилась.

Вечером маленький Дима, Левин сын, с увлечением рассказывал мне уже известную — от своего папы — историю, как летом полили огород из ямы с дурной водой и огород захворал. «Кабачки сдохли,— с сочувствием рассказывал мне Димка,— а некоторые потом поправились, еще не совсем сдохли». Димка относится к кабачкам, как к живым существам.

Тем временем Лев напек нам с Димкой оладушек из кабачков.

Пора уезжать, но что-то держит, прежде всего особенная цена здесь прожитого времени. Здесь нет ни одного пустого, ничего не стоящего мгновения. Просто смореть, дышать... Уходить не хочется. Некуда. Здесь последний приют. Я вернулся в природу. Все исполнилось в моей жизни благополучно: к исходу подыскался исконный, неиспорченный русский (хотя и вепский) лес, озерный край, мир тихих нег. Помню, в молодости плыл на теплоходе по Телецкому озеру, увидел тропу, идущую из воды вверх к какому-то жилищу, тайгу, отраженную в воде, и так отчаянно-остро захотелось сойти, остаться, слиться, исчезнуть вовне, обрести себя внутри... Но было еще не время, предстояло выполнить заданный мне урок, то есть уроки по таким предметам, как самопознание и самоосуществление. Теперь я сошел на мой берег, пока еще одной ногой. Раскачиваюсь, балансирую... Вот бы еще нашлось у меня силенок посадить свой огород, съестъ собственный кабачок... Впрочем, «кабачок» имеет два смысла. Во втором смысле «кабачок» остается при мне: «Зашел я в чудный кабачок. Вино там стоит пятачок...»

29 августа. Пасмурно. Дует настырный северик — ветер хороший. В избе тепло. Напек — на костерке из лучинок, на поду печи — оладушек. Рдеет рябина. Колышется трава тимофеевка. Читаю сразу три книги, во всех трех тотчас находятся сцены, послышки, умозаключения, близкие моему состоянию духа. «Воскресшие боги Леонардо да Винчи» Мережковского: «Из трубы очага вылетела Кассандра, сидя верхом на черном козле, с мягкою шерстью, приятною для голых ног. Восторг наполнял ее душу, и, задыхаясь, она кричала, визжала, как ласточка, утопающая в небе (визжащей ласточки не слыхивал.— Г. Г.):

— Гарр! Гарр! Снизу вверх, не задевая! Летим! Летим!

Нагая, простоволосая, безобразная тетка Сидония мчалась рядом, верхом на помеле. Летели так быстро, что рассекаемый воздух свистел в ушах, как ураган.

— К северу! к северу! — кричала старуха, направляя помело, как послушного коня. Кассандра упивалась полетом.

(...)

То поднималась в высоту: черные тучи громоздились под нею, и в них трепетали голубые молнии. Вверху было ясное небо с полным месяцем, громадным, ослепительным, круглым, как мельничный жернов, и таким близким, что, казалось, можно было рукою прикоснуться к нему.

То снова вниз направляла козла, ухватив его за крутые рога. И летела стремглав, как сорвавшийся камень в бездну.

— Куда? куда? Шею сломаешь! Взбесилась ты, чертова девка? — вопила тетка Сидония, едва поспевая за ней».

Кстати, о козле. Козла у здешней тетки Ады загрыз насмерть кавказский сторожевой овчар моего соседа Гены, козу искусал так больно, что она плакала на всю деревню человеческим голосом.

На память приходит литературный перл, широко известный в свое время как образец малограмотности русского писателя, явившегося в литературу «по призыву», из романа Ивана Уксусова: «Коза кричала нечеловеческим голосом». Уксусову приписывали и еще один перл: «Хотя сержант Кацман был еврей, он содержал пушку в подрядке».

А вот «Письмо из деревни» Энгельгардта касательно общего хода дел в российском сельском хозяйстве:

«Разделение земель на небольшие участки для частного пользования, размещение на этих участках отдельных земледельцев, живущих своими домиками и обрабатывающих каждый отдельно свой участок, есть бессмыслица в хозяйственном отношении. Только «переведенные с немецкого» агрономы могут защищать подобный способ хозяйствования особняком на отдельных кусочках. Хозяйство может истинно прогрессировать только тогда, когда земля находится в общем пользовании и обрабатывается сообща. Рациональность в агрономии состоит не в том, что у хозяина посеяно здесь немного репки, там немного клеверку, там немножко рапсу, не в том, что корова стоит у него целое лето на привязи и кормится накошенной травой (величайший абсурд в скотоводстве), не в том, что он ходит за плугом в сером полуфрачке и читает по вечерам «Гартенлаубе». Нет. Рациональность состоит в том, чтобы, истратив меньшее количество пудофутов работы, извлечь наибольшее количество силы из солнечного луча на общую пользу. А это возможно только тогда, когда земля находится в общем пользовании и обрабатывается сообща».

Попробовали, не вышло, чего-то не хватило, «солнечный луч» сам собою силу не отдал. Основатель первого «колхоза» на Руси, на Смоленщине, Энгельгардт, предвидя такую несговорчивость «солнечного луча», призывал в свое время именно к тому, что сегодня стало первой жизненной потребностью:

«Земля должна привлечь интеллигентных людей, потому что земля дает свободу, независимость, а это такое благо, которое выкупает все тягости тяжелого земледельческого труда». Убеждая интеллигенцию заняться земледельческим трудом, Энгельгардт приводил в доказательство такой довод: «...чтобы вам еще более было ясно, скажу, что я сочту счастлившей минутой моей жизни, когда увижу, что мой сын идет за плугом или в первой косе. Дочь моя и теперь доит коров не хуже деревенской бабы».

Ну вот и приехали. В июне я был в Москве на IX съезде писателей; каждый, с кем доводилось перекинуться словом о житье-бытье, докладывал не о содеянном литературном труде, а о посаженной картошке, хвастался мозолями на руках; тем гордились, на то уповали.

Крестьянскому сыну, будь то Абрамов, Белов, Шукшин, достало усилия молодости — выработать в себе художественного интеллигента. Сможет ли нынешний интеллигент-горожанин при жестких сроках «вхождения в рынок» преобразиться в крестьянина? Насколько я могу судить по моим соседям, новый землевладелец неленив, самонадеян. Механик по мотоциклам, с политехническим образованием, Алеша прикатил с пригорка гигантскую емкость, брошенную совхозом, прилаживает к ней насос с мотором, будет поливальный агрегат для огорода. Математик-программист Лев как-то посетовал: «Вепсы не соблюдали элементарных агрономических правил, зато у них на земле ничего путного не выросло. Они даже не знали, что навоз так нельзя класть, а надо смешивать с землей».

Ну что же, перемешаем то с этим, только бы не переборщить.

Еще читаю «Пути русского богословия» Георгия Флоровского, там нахожу непреходяще важное для каждого нравственного существа правило... Флоровский сочувственно пишет о славянофиле Хомякове: «Он даже боялся умиления, зная, что человек слишком способен вменять себе в заслугу каждое земное чувство, каждую пролитую слезу; и когда умиление на него находило, он нарочно сам себя обливал струей холодной насмешки, чтобы не давать душе своей испаряться в бесплодных порывах и все силы ее направлять на дела...»

Последуем сему важному примеру и мы, грешные.

30 августа. День начинался с туманов; туманы рассеивались; пригревает солнышко; росно. Занимается день без каких-либо насилий: ниоткуда не дует, ничто ничего не заслоняет, не заволакивает. Тихо. Ясно. Вчера ходил на дедову вырубку на том берегу; дед Федор свел меня когда-то на свою брусничную лужайку. Брусники полно и грибов. Сварил грибную похлебку: вода, картошка, соль, луковица, грибы. Похлебал. Сварил варенья, напек блинов. Сегодня поутру воспользовался примусом «Турист», подаренным мне на 50-летие Алексеем Леоновым 12 лет тому назад. Подарок даритель сопроводил дарственным стихом:

Чтобы сберечь народный лес,
придуман примус для повес
и котелок — устройством прост —
с расчетом на предельный рост.
Варить в нем можно кашу, воду
в любую мокрую погоду.
Без суеты у шалаша —
пусть кашкой кормится душа
и над природою парит,
когда спирт в примусе горит.

Леша Леонов — даритель примуса «Турист» на 50-летие товарищу — едва ли мог тогда предположить, что в скором времени враг человеческий попутает его на злое деянье, загремит он в тюрьму, выпустят его по полному нездоровью, комиссуют.

Примус пролежал втуне двенадцать лет с момента дарения, зажегся сразу, с первого поворота ручки, горел хорошо.

Прилетел ястребок (коршунок), сел близко ко мне на кровлю избы, будто он голубок, чего-то хотел от меня. У ястребка пестрая в клеточку грудка.

Во всей природе безмолвие, неподвижность. Беловато-смуглы некошеные тимофеевка,

ежа. Вчера вечером Солнце стояло (то есть медленно скатывалось) вон там против ивового куста. От низкого Солнца в Озере полыхала вода, просвечивало сквозь ивовый куст, весь куст зарделся. Всего одно Солнце, один куст на нашем берегу, и в купе учинили иллюминацию. Вовсю стрекочут сороки, деловито наискосок пролетела над лугом ворона.

Вчера, помню, почему-то записал в этой тетрадке, что дует северик — хороший ветер, но дул южак, тоже хороший, нанес тепла. В тетради написал старик, что дует ветер северик. Он, стало быть, у нас чужак, не чует, что задул южак.

А небо заволакивает с юга. А нам все равно. Сегодня двадцатый день моего пребывания в нюрговичских пенатах. «А что же вы делали там?» — спросят. «А мы куковали», — ответим. «А что же вы ели?» — «А что Бог послал». Больше ни от кого посылки не поступало.

Девять часов вечера. Озеро уже в тумане. Парно. Прямо передо мною зоревой край неба с неподвижным облаком на нем. Косая растушевка, будто где-то идут дожди. В цвете зари есть брусничность — брусничное время. На брусничном зоревом экране дымчато-синеватые силуэты: впереди медвежонок с круглыми ушами, за ним длинно-мордая медведица.

Все говорят, что пошли грибы. Все пошли за грибами. Крапает дождь.

Вчера по радио сказали, что на востоке Ленинградской области температура перевалила за тридцать градусов. Галина Михайловна, жена Валентина Валентиновича, отговаривала меня уезжать: «Не уезжайте, самые грибы будут завтра». Уговорила, не уехал. Ночью не спал, слышал, по радио сказали, что на Гагру наступают десять танков, грузинский отряд в тысячу человек. Обороняются абхазы, отряды горских народов. Господи, как же им жарко наступать, не прохладнее и обороняться. Зачем? Абхазам не победить Грузию, грузинам не переместить абхазов из мест, определенных им Создателем — у самого Черного моря. Года три назад в Пицунде один абхазский писатель, вдохновитель своего народа на священную войну с грузинами, предсказывал то, что разразилось нынче. Где-нибудь у меня записаны детали разговора с абхазским другом, такие вещи я записываю. А может быть, не записаны: разговор шел под большие дозы чаи. Запомнилось из него: грузины пришли на абхазскую землю, захватили все руководящие должности, почитают абхазов за дикарей. И: «Надо пустить теплую кровь»...

Но как наступать на Гагру? По верхней, нижней дороге? Без дороги танк не пройдет. Чем кончится наступление? Сколько прольется теплой крови? Вообще, когда все это кончится?

Сводка с театра военных действий в хорошо тебе знакомых местах не вызывает душевного потрясения; война на окраине стала привычным делом. Слава Богу, у нас пока тихо.

Утром сбегал в ближний мой лес, нашел двенадцать белых и всяких других. Похлебка из подосиновиков, подберезовиков получается гуще, чем из белых; грибы развариваются, чернеют. Белые в похлебке обособляются, остаются, какими были: корешки белыми, шляпки светло-коричневыми. И то и это вкусно!

Похлебал похлебки, поднялся на тот берег на мою делянку за брусничкой. Там нашлись и россыпи и залежи нашей северной Ягоды. На Пинеге, на Мезени малину зовут малиной, чернику черникой, а бруснику Ягодой: это — первая Ягода у нас на севере.

Разговаривал с бывшим кооператором, ныне дачником Андреем. Он по-прежнему похож на царя Навуходоносора: удивительно изящно и в то же время мощно сложен, рыжебород, голубоглаз (не ручаюсь за портретное сходство; царь Навуходоносор приходит на память как воплощение необыденного, из другой человеческой породы). Экая орясина! Ему бы намотать на голову чалму, сидеть на площади по пояс нагому, в шальварах — и чародействовать. Совхозные мужики сожгли в избе Андрея березовые плашки — он их высушивал, после вырезал на них иконные лики, продавал, тем жил. Теперь Андрей решил, что хватит: демографическая ситуация в деревне не та. Сожгут, ограбят, втянут в дачную интригу. «Избу весной продам, на лето можно уехать куда-нибудь на Алтай; здесь так и так все вытопчут».

1 сентября. День поступления в школу моих дочек: Ани, Кати, день гладиолусов, георгинов, крупных слез, еще более крупных бантов... Господи! Это было при советской власти: после школы высшее образование, и папа не подведет...

Сегодня безоблачно, тихо, в смысле беззвучно. Дует восток. Дым из трубы только что затопленной печки относит влево; дым белый.

Утречком сбегал в мой лесок, поглядел на вересок. Дались в руки восемь белевских, не много, но и не мало. Будем сушить. Продукты питания кончились. В животе пусто. Хотя есть хлеб, чай, спички, дрова. Есть книга Флоровского «Пути русского богословия».

Небо все, насколько я вижу небо, дымчато-голубое. Леса на том берегу зеленые с оттенками, с бело-лиловой проплешиной кипрейного луга. Надо идти в дальние боры по грибы, но чего-то не хватает в организме — грибной похлебки. Припекает солнышко. Затоплена печь, сушатся белые грибы.

2 сентября. 7 часов утра. Ни облачка на небе. Дует порывистый южак. Вчера был курортный день у моря: ходил по деревне в одних трусах, как в Пизунде (до войны абхазов с грузинами). Топил баню Эрика Шапиро, по-черному. Баня раньше была Цветковых; Цветковы уехали; котел из каменки вынули, унесли. Эрик поставил на место котла ведерный чугунок. А так все было, как в доброе старое время. Напилил кольев — подпорок стогов; взялось хорошо, скоро зашипела каменка. Нашел неплакучую березу, связал веник. Парился, нырял в озеро, опять поддавал пару... Мой добрый Ангел приготовил подарок: кидал на чердак пустые бутылки, выпитые до меня, нашел целую маленькую «Московской». Должно быть, Соломоныч припрятал и забыл. Водка за годы ожидания моего банного дня усохла в маленькой на четверть, но градусы в ней те же. Попарился в бане, понырял, выпил водочки, заел грибной похлебкой. Пел песни. Почему-то хорошо пелось про танкистов, возможно, в связи с танковой атакой под Гагрой. «Броня крепка, и танки наши быстры, и наши люди мужества полны. В строю стоят советские танкисты — своей великой родины сыны».

Посадки Солнца сегодня нет: запад плотно затучен. На небе рельефная темная облачная композиция: округлые фигуры с завитками, меняющимися очертаниями; на небе тревога. Весь день рвал-метал южак, шпарило Солнце. Я ходил в дальние боры, получил то главное, ради чего... Ну да, тридцать четыре белых... Наслаждался абсолютным одиночеством, просторностью, богатством, щедростью боров.

Завтра надо стать на возвратный путь, долгий, а в конце его, дома... Но, может быть, дом здесь, а там чужбина?..

Ночью бас пел: «Я вспомнил время золотое, и сердцу стало так светло...» Очень своевременная песня. Потом сказали, что в Вологде остановился подшипниковый завод. По тону обозревателя это вроде бы даже и хорошо: «Дружба дружбой, а денежки врозь». В Ставропольском крае, в городе Лермонтова, прекратилась переработка урановой руды из рудников под Бештау. Это и подавно хорошо: «российское» радио исполнено оптимизма. В Таджикистане все остановилось, никто ничего не контролирует.

3 сентября. 9 утра. Беспросветно хмуро, льет дождь. Ночью вдруг застучали по крыше крупные дождины.

Последнее утро в моей избе. Греет беспредельно теплотворящая печь. В последнюю ночь я спал, чего не бывало в предшествующие ночи. Возможно, в последнюю ночь на меня воздействовало все лучшее, что было за месяц в деревне: солнечные ветры, окуневые поклевки, брусничные кочки, грибные похлебки, красивые головы боровиков, глаза лесных озер, всегда глядящие в небо, ширь нашего Озера, банный пар, хряст березового веника по чреслам — убаюкало меня напоследок. Спи, моя радость, усни; в доме погасли огни...

На дворе прекрасная, хмурая, мозглая, беспросветная чухарская погода (непогода). Погода все та же, но не стало деревни, вот какая оказия. Бывший магазин, я бывал в нем, делал покупки у иногда проходящей из Озровичей магазинщицы Кати, куплен профессором, доктором математических наук. Я еще не знаком с доктором. Вообще главное в нашем дачном местечке — не проявление интереса друг к другу, взаимная нахохленность.

Деревня не возвратится в сие место. Когда мотоциклист Алеша станет фермером, заколосится его нивы, затучеют стада? Из года в год я прохожу все те же круги, сохраняя за собой должность нештатного летописца бывшей деревни Нюрговичи, повторяюсь в летописании. Должно что-нибудь случиться, назревает кульминация: поджог избы, волкодав (козлодав) Гера у соседа Гены, крах кооператива «Сельга», ограбление кооператоров, конфликт Валеры Вихрова с бывшей тещей Адой...

Не хочется уходить, Господи! Так далеко идти. А надо. Покуда носят ноги. Говорят про ноги, что они кормят волка. Но я же не волк, ей-ей...

Я — Леший. Ну да, тот самый, опубликованный, гласно курирующий... Мой клиент Старец нынче не рыпается, тише воды, ниже травы. Во что-то вслушивается, чего-то ждет, но всякий раз сбывается нечто другое, неожиданное. Весной я перегнал Старца из его избы в чужую, науськал кого надо избу подпалить, чтобы запахло горелым при свете дня (я хотя и порождение тьмы, на свету тоже функционирую, только приуруиваюсь)... Старец потрелыхался: «Ах, надо и это перетерпеть, отречься от внешнего, затаиться во внутреннем...» Однако патроны в стволы вложил, ружье в изголовье поставил. В духе времени мой сценарий...

Признаться, мне, Лешему, нынче можно и не вмешиваться в текущую действительность, все идет по моим разработкам, даже с непредвиденным ускорением: всеобщий раздрай. По временам становится скучно, хоть плачь: перепроизводство ненависти. По телевизору показывают: первое лицо в государстве — президент, с перекосенным лицом погрозил пальцем народным избранникам депутатам: «Я вам этого не забуду!» И плакать нельзя: Лешевы слезы дождями прольются, а на дворе великая сушь. Я могу испортить погоду; климат на планете уронили лучшие умы человечества, ну, разумеется, хомо техникус. Гуманитарии-благотетели навестились в верхний эшелон власти, в президентский корпус — в славянских странах, в Балтии, было в Грузии, теперь в Венгрии... Даве были диссиденты, ноне стали президенты. А? Богатая рифма?! И какой лексический разброс! В России, то есть в РФ, гуманитарий на самый верх не пройдет, даже с диссидентским бантиком в петлице, покуда не изведется кадровый резерв партийных бонз, оказавшихся не у дел. Наш радикальный гуманитарий ломящемуся в президенты партийному иерарху ковровую дорожку раскатывает, аллилуйю поет, в диссиденты посвящает. Эсэнгэшный президент — самый первый диссидент...

Это я так, к слову, не мой предмет, просто пользуюсь предоставленной трибуной. Человеческие слабости мне, Лешему, тоже свойственны. Собственно, в этом мое призвание: слабости культивировать, сильные стороны низводить.

Президент по воцелствию на пост попадает в поле действия главных надмировых сил; на него накладывает лапу сам Сатана (иногда лапа накладывается загодя, оставляет на темени след, но это случай особый). От себя скажу, президент — негуманная профессия; один Буш оставил по себе в Ираке столько могил, сколько у нас в Чухарии муравейников. Судя по всему, нынешний российский президент не отстанет от заокеанского, хотя и без «бури в пустыне».

Я — Леший; смертоубийство — не мое ремесло.

А так вопросы одни и те же на всей территории бывшей империи, будь то СНГ, РФ и у нас в Чухарской республике (можно назвать ее ЧУР, звучная аббревиатура). По женскому вопросу я в прошлом году высказывался, мне Старец дал слово, так и озаглавил: «Слово Лешему». Конечно, самонадеянно впрямую связывать выступление в прессе, даже такого авторитета, как Леший, с волеизъявлением президента. Но не бывает и дыму без огня: Ельцин избавился от советницы Старовойтовой... А я о чем говорил в моем «Слове»? Ну вот... Я слов на ветер не бросаю, тем более знаю, откуда он дует.

В национальном вопросе я традиционалист, тонкий знаток поверий, психического склада народа, в среде которого обитаю. Я — вепсский Леший, легко переориентируюсь в русского; у вепсов с русскими нет этнической несовместимости, из одной почвы произросли, одна у них биосфера. Господин Великий Новгород в незапамятные времена взял под свою руку Чухарию да и сам по уши врос в здешние болота, пустил корень. Коренное население во все времена жило по законам Лешева царства, умело законы переступать, от Лешега отрещиваться.

Выдворяли вепсов, равно и русских, с насиженных мест коммунисты — бесовство государственное, идеологическое. Стало пусто, местность осиротела, подрублен корень. Стариков почти не осталось, пашозерские старухи сойдутся на бесёду и меня помнут: «Леший знает, кому это надо, чтобы в наших избах дачники жили». Я-то знаю, только у меня не спросили, когда решали, местную специфику в расчет не взяли. Все было централизовано, и в нашей системе тоже.

Чего у нас не бывало прежде, так это междуособицы. Местные вызверятся, в субботу попарятся в одной бане, зло паром выйдет. Кто приезжал, того привечали, калиткой потчевали, бутылку на стол выставляли. Новая демографическая ситуация на Вепсовской возвышенности чревата распрей, противостоянием. Кого с кем? Корен-

ные здешние вепсы — язычники, обитали в Лешевом царстве, со мною умели поладить. Пришлые дачники слишком самонадеянны, уповают на свой рационализм, думают жить по городскому уставу, по статье, а у нас надо жить по поверью, по преданью глубокой старины, в ладу с природой, со мною, духом природным.

Ну что же, распря... Политизируюсь, буду ее поддувать, моя работа. Зажигаю на небе петарды — зарницы с громом, из оброненной искры возжигаю всепожирающий пал — тревога! Но, положила руку на сердце, честно признаюсь: так жалко былой беспробудной дичи, махровой патриархальности, чухарского идолопоклонства... В Лешеву ночь, как в доброе старое время, из какой-нибудь трубы вылетает моя тетка Сидония (Мережковского читал, шабаш у него описан красочно, но есть неточности; в смысле проникновения в психологию шабаш у Булгакова много выше); о чем мы с ней договариваемся, умолчу, умолчу, умолчу. Неопознанный улечу.

Что станет с нами завтра? Завтра наступает с третьими петухами, а петухов-то в деревне и нет. Не брякает боталами скотина, не ревут трактора... Тихо. Империя распалась. Свергнут тоталитарный режим...

Мое неправое Лешевое царство правит свой бал в Божьем мире. В чем могу расписаться я, Леший, воспользовавшись любезно предоставленной мне возможностью — Старцем, жительствовавшим у нас в Чухарии на птичьих правах.

6

Лев перевез меня через Озеро, я вздынулся на верхотуру, где в молодом (не старящемся) нагорном смешанном лесу тотчас нашлись словно для меня выращенные белые грибы. Ядреные боровики всех возрастов стояли семьями у самой тропы, выказывали головы из травы в березовых перелесках. Грибы давались в руки с какой-то улыбочивой доверчивостью: «Ну вот, наконец-то, а мы тебя ждали». Видать, давненько здесь не бывал Валера Вихров, оставил по себе следы работы-промысла: обглоданные поржавевшие ольхи (к одной приставлена лесенка), груды корья, укрытые полиэтиленом...

Хорошо бы грибы почистить, а нож в мешке, мешок за спиной... Раскрытый порочинный ножик, с каким только и ходить по грибы, лежал у тропы на кочке. Я принял подарок моего Ангела, почистил грибы, нашлась под них и кошелка...

Лесной гостинец я снес бабушкам Богдановым, бабушке Кате и бабушке Дусе. Таких красавцев они нынче, в безгрибье, и не видавали. Баба Дуся покормила меня чем Бог послал. Баба Катя сказала: «Приезжай ишо, жаланый. У нас с Дусей пензия вот така большущая. С голоду не помрем».

К избе бабушек Богдановых подъехал на мотоцикле корбеницкий медик Андрей, привез лекарства от давления и еще от чего-то. Бабушка Дуся подарила Андрею номер тихвинской районной газеты «Трудовая слава», а в нем заметка «Наш добрый доктор». Андрей прочел, зарумянился. Я тоже прочел. В заметке говорилось, что в забытой Богом и людьми деревеньке Харагеничи живут одни старухи и никакой им «гуманитарной помощи» ниоткуда. И было бы им, болезным, так худо, если бы не добрый доктор Андрей. Он при любой погоде придет, в каждую избу зайдет, давление померяет, банки поставит, лекарства привезет, обо всем расспросит, проявит внимание, что самое дорогое... Бабушки деревни Харагеничи через газету поблагодарили доброго доктора... Подписалось шестеро бабушек.

— Как написали, так и напечатали, слово в слово, — сказала баба Дуся.

— Я хотела написать, што у нас в деревне невесты как на подбор, в девках засидевши... — пошутила баба Катя, храня на лице серьезность своих ста шести лет...

7

За полдень в сентябре. Деревня Чога.
Дождь мельтешит в окне. Потрескивает печь.
Спокойно на душе. Изба моя убога,
но кров не просквозила течь.
Куда ни кинешь взор, зеленые увалы,
разводий синева, рябиновый окрас...
Те счастливы, что побывали
на нашем берегу хотя бы раз.

Как приеду в Чогу (в этот раз прихотелся пешком: Нюрговичи-Харагеничи-Кончик-Пашозеро-Чога), так у моего соседа Дмитрия Семеновича Михалевича какая-нибудь снегшибательная история. «...У них под Кильмуей,— рассказывал Михалевич,— приватизированы охотничьи угодья. Такие молодые замечательные ребята, и все у них есть — и база в Шугозере, и медведей навалом. К ним приехали испанцы охотиться на медведей. И заплатили всего по пять тысяч долларов. Представляете? Это же даром. Если бы они поехали куда-нибудь в Канаду, с них бы там содрали... Ну и вот... За мной пришла машина, меня пригласили им показать охоту на болотную дичь. Мы с Яной поехали. Испанцы, надо сказать, изумительные люди, веселые, искренние — настоящие испанцы. Им так все понравилось — природа и охота, у них таких птиц нет. Яна искала птицу, делала стойки... Нынче сухо, птицы мало, но все равно все вышло в лучшем виде. Я с ними разговаривал по-английски. И они замечательные стрелки, у них первоклассное оружие. Я дупеля особо далеко не отпускаю, а они метров на шестьдесят — и попадают. Им очень понравилась эта охота.

И медведя они убили, мне егеря Дима рассказывал. Они сидели на лабазе, на дереве, двое. Медведь вышел в овес; у них оптические прицелы. А патроны вот такие огромные, пули — они такими пулями слонов бьют в Африке. И вот один из них прицелился, метрах в восьмидесяти был медведь, выстрелил, медведь так и рухнул. Ну, им говорят, надо быть осторожным, подождать. Медведь, как потом выяснилось, был насовсем убитый, ему все мясо разорвало... Но, видимо, настолько сильная была боль, что он, уже фактически мертвый, встал, ужасно рывал. Испанец еще раз в него стрелял, перебил позвоночник. Шкуру тому, кто стрелял, и свидетельство выдали: медведь убит там-то, тогда-то, для таможни...

Мне испанцы тоже предложили гонорар. Я отказался, а когда мы прощались, руки пожали, я чувствую что-то такое в руке. Я говорю: «Зачем? Не надо!» А они: «Все в порядке. Заслуженный гонорар». Теперь в Швейцарию поеду, у меня своя валюта, хоть маленькая, но своя...»

О, Господи! Слава Тебе, что бывают счастливые люди даже в провальные времена.

Мишу, убитого испанцами, правда, жалко. Наши медвежатники: Жихарев, Цветков покойник — не то чтобы гуманнее обходились с мишами, но как-то на равных; мише давался шанс взять верх над охотником...

Помню, рассказывал Михаил Цветков: «Он под выворотнем лежал, неглубоко, снег желтый, у него надышано. Я дрын осиновый вырубил и его в бок, шуюрю. Он встал, башкой мотаает, отряхивает. А между нами березка, снегом согнутая. Он на дыбки встал, лапы на березу положил и мне в глаза смотрит. Я ему в голову стрелил, он упал».

Круглые пули Миша Цветков сам обкатывал. Ежели бы чуток промахнулся, миша бы свой шанс не упустил.

**Клуб книголюбов «Похъяла»
(185000, г. Петрозаводск, а/я — 403)
высылает книги карельских издательств
и журнал «Север».**